

# ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

МОРСКАЯ  
СЕРИЯ



НАЧАЛО КОНЦА  
КОМЕДИИ

За Доброй Надеждой

Виктор Конецкий

**Начало конца комедии**

«Издательство АСТ»

1966–1977

## **Конецкий В. В.**

Начало конца комедии / В. В. Конецкий — «Издательство АСТ»,  
1966–1977 — (За Доброй Надеждой)

ISBN 978-5-17-062365-5

«Начало конца комедии» – одна из лучших книг знаменитой путевой прозы Виктора Конецкого. В ней он достиг того уровня мастерства, которое поставило его в один ряд с лучшими русскими писателями второй половины XX века. «Мало кто умеет писать так сочно, легко, ярко, умно и – свободно», – писал об этой книге Юрий Трифонов.

ISBN 978-5-17-062365-5

© Конецкий В. В., 1966–1977  
© Издательство АСТ, 1966–1977

## Содержание

Начало конца комедии	5
Путевые портреты с морским пейзажем	11
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# Виктор Конецкий

## Начало конца комедии

### Начало конца комедии

#### *Рассказ*

Я работал над кинокомедией в подмосковном писательском Доме творчества в обществе двух собак и одного литературоведа.

Некоторые симпатичные черточки для положительных героев я брал у этих собак – Шалопая и Рыжего. Дело в том, что собаки, как и мои герои, дружили, были закадычными приятелями и полными противоположностями.

Рыжий был флегма и поэт, еще молодой, узкий в кости и изящный. Одно ухо, перешибленное или перекусанное, висело на глазу бархатным клоком; лоб широкий, глаза светлые, брови темные, соболиные; седина только появлялась на загривке.

Шалопай был уже в возрасте, сугубый практик, умудривший свой дух не поэтическими размышлениями, а бесчисленными драками. Он имел мощную грудь, длинную шерсть, густую и жесткую, с сильной проседью, особенно заметной на шрамах.

Оба были чистокровными дворнягами и не имели официального статуса, жили при Доме творчества – и все тут.

Шалопай вечно хотел есть и потому иногда подхалимничал.

Рыжий ради куска не ударял пальцем о палец. Даже по утрам встречал с равной флегматичностью: покажись я с едой или с пустыми руками, Рыжий продолжал лежать в соломенном кресле на летней веранде, свернувшись, туго укутав себя в себя, мелко дрожа (была поздняя осень, заморозки), и даже ухом не вел в сторону бутерброда. Можно было подумать, что пес вовсе не проголодался за ночь, можно было принять его за избалованную дамочку, которая согласна откусить кофею только в постели. И действительно, кусок приходилось подавать ему прямо в пасть, иначе кусок перехватил бы Шалопай. Этот-то с совсем различным пылом прыгал и изгалялся по утрам в зависимости от того, вышел я с бутербродом или без.

Рыжий, проглотив кусок, наконец слезал с кресла, длительно и длительно потягивался, удлиняясь до полутора метров и слабо повиливая еще сонным хвостом. Шалопай валялся на спине в расчете на чесание брюха, но чесать его по утрам мне лень было.

Затем давалось благодарное представление.

Это были радостные минуты прыжков, верчений и неожиданных окаменевших поз-пауз, когда собаки вдруг с лета пытались выкусить блоху в самых своих недоступных и невероятных местах.

Если я брал палку и предлагал прогуляться, то псы в восторге прыгали на меня, пачкая плащ тяжелыми лапами и мокрыми мордами, а затем изображали схватку гладиаторов, вероятно, давно и с другими временными хозяевами отрепетированную.

Шалопай и Рыжий знали, что людям нравится наблюдать чужие драки. И вот они хватали друг друга за шеи, рвали в клочья сонные артерии, валялись на спины; обнимались, пытались задушить приятеля двойным нельсоном; и клацали клыками со стальным звоном.

Потом мы шли гулять в позднюю подмосковную осень.

Иногда с нами отправлялся знаменитый литературовед, знаток западноевропейских культур, автор тонкой и умной книги об особенностях современного поэтического мышления – хилый, как в народе говорят, «соплей перешибешь» старичок лет шестидесяти пяти.

При первом знакомстве он долго взывал к моей скромности, просил не поднимать на смех, не судить строго, извинить за неурочное вторжение, за несвойственную ему навязчивость и т. д. и т. п. Оказалось, он придумал страшное оружие. Побледнев от волнения и понизив голос, литературовед спросил, слышал ли я о случаях распространения звука в океанских толщах на гигантские расстояния? Я про это слышал. Тогда он рассказал, что ему пришла идея – сводить экипажи вражеских субмарин с ума с помощью мощного берегового звукоизлучателя.

Сперва я решил, что он шутник, но скоро понял, что старикан просто маньяк-физиоман, то есть мужчина без технического образования, но с неудержимой тягой к изобретательству. Вообще-то, у всех знаменитостей ныне есть хобби. Я знаю, например, что Луи де Фюнес в свободное от кино время с головой уходит в изобретательство и потому получил прозвище «технокомика». Одна из новинок актера называется «тяни-толкай» – это симбиоз морского катера с автомобилем марки «ситроен», который прикреплен к палубе катера вверх колесами. Де Фюнес в процессе изобретательства не теряет юмор, а у литературоведа, хотя внешне он своей суетливостью несколько напоминал Фюнеса, никакого юмора не было. И потому, когда мы с ним пошли гулять в сопровождении Рыжего и Шалопая, я со всевозможной деликатностью и осторожностью объяснил, что подлодки имеют корпус, который не только противостоит забортному давлению, но еще должен не выпускать из лодки звуки, дабы не демаскироваться, и потому пробить шкуру лодки наружным звуком – дело опасное; генератор звука будет такой мощности, что своим излучением в первую очередь уничтожит сам себя и свою обслугу и т. д. и т. п. Гуманитарий смотрел недоверчиво и ухмылялся мягкой ухмылкой детоубийцы.

Конечно, он изобретал оружие против врагов – подводников, но в моем подсознании хранились команды:

«В носу! В корме! В отсеках! На койках лежать! Слушать!» И я хорошо помнил мертвый шорох распираемых внутренним давлением консервных банок аварийного запаса; и бесшумность, с которой течет с торпеды ее торпедный холодный пот в твою койку; и ниагарский шабаш, с которым за жестким корпусом бушует океан, врываясь в балластные цистерны. И моя память о погибших подводниках каждые пять лет обновлялась в минуты молчания на юбилейных сборищах однокашников. И я видел, как поднимают затонувшую лодку, и как ведут ее на понтонах, и вводят в док, и как уходит из дока вода, а из лодки она все продолжает литься и падать на дно дока с монотонностью и скорбью глухонемого мычания; и люди в масках опускаются в мокрые отсеки и выдают в люки то, что осталось от Степанов и Петь, чтобы похоронить их там, куда не ступает нога непосвященного, и подводники возносятся над морем и лежат под ранжирными плитами и под своими застывшими званиями – вечные матросы, старшины и лейтенанты... И так как все это хранилось в моем подсознании, то направление изобретательства литературоведа мне не очень понравилось. Но я не показал этого. И правильно сделал, ибо оказалось, что палитра его интересов шире и разнообразнее.

Мы бродили в поздней подмосковной осени, и я слушал о задуманном литературоведом водомете, который будет поражать сухопутную пехоту на огромных площадях.

К струе водомета будет подключаться источник электрического тока. Гигантская лужа, образуемая водометом, будет изолироваться от земли с помощью специальных присадок в составе воды – например асбеста. Асбест будет осаждаться на дно, изолировать воду от земли; электрический ток в гигантской луже будет продолжать циркулировать, и любой супостат, если он без калош, закончатся и погибнет в конвульсиях...

Господи, какое наслаждение, какое счастье глядеть на двух дворняг, трусящих впереди по обочине шоссе, когда рядом идет такой изобретатель! И ведь это умный, большой человек! И его два раза в неделю на казенной машине возят в университет, где он читает лекции о поэзии...

Разделяется ли где-нибудь разум от знаний? Или они связаны, как время с пространством? Возможно ли использовать интеллект умного от природы человека, если он не имеет

специального образования в данной области? – вот о чем я размышлял, глядя на трусящих впереди сквозь рыжую осень двух дворняг...

От Шалопая и Рыжего в мою душу источался успокоительный бальзам. Мне милы были все их плебейские повадки. Вот, например, дворняги при передвижении по гладкой поверхности мелкой трусцой (скорость которой соответствует нашему среднему шаганию), во-первых, вывешивают язык набок, чтобы потеть через него. Во-вторых, их зад несколько заносится на сторону. Причем сторона зада противоположна стороне языка.

Обычно по рассеянности отставал, исчезал из видимости лопухий и грустный Рыжий. Шалопай же никогда не бросал меня, не отвлекал своей пропажей от философских дум, не заставлял свистеть, то есть брызгаться слюной, ибо свистеть на пальцах я не умею, что мучает с детства.

Неумение свистеть и веснушки – два детских мучения. За веснушки меня тоже звали Рыжим. Таким образом, мы были тезками с грустным поэтическим псом.

Когда-то я страдал по поводу веснушек, как Прометей за человечество. И вдруг спохватился: а где они? Их нет уже давно, и я не помню и не знаю, когда потерял молодой крест. Веснушки опали бесшумно и незаметно, как опадает с берез последняя рыжая листва. И вот уже не до романов с красивыми женщинами, и мечта только о доброй домработнице, которая не воровала бы у меня старинные памятные вещицы...

Я глядел на трусящих впереди собак или беспокоился о пропавшем Рыжем и слушал о том, как просто можно обезопасить египтян от неожиданного вторжения израильтян, если поместить под Суэцким каналом цистерны с нефтью, а ее-то, как известно, у арабов пруд пруди. В момент, когда израильтяне начнут неспровоцированное форсирование канала, нефть из цистерн следует выпустить и поджечь – пока израильтяне будут ее тушить, они утратят элемент внезапности нападения...

Ну что ты на это скажешь?

Я покорно слушал – а только этого литературоведу и не хватало. Он был переполнен подобной чувшью. Ему надо было выливаться. И он выливался. А я даже был в какой-то степени благодарен ему. Суегливый литературовед-изобретатель подарил мне Фюнеса. Когда сочиняешь комедию, чрезвычайно важно видеть за каждым героем актера. Потом, если сценарий запустят в производство, очень полезно брать на роль как раз какого-нибудь другого. Но пока сочиняешь, важно видеть определенного артиста. И за одним из героев у меня замаячил Фюнес. И я этому тихо радовался, слушая кровожадного литературоведа на прогулках и наблюдая, как радуются псы, когда отставший Рыжий находится и Шалопай тычется ему носом под перебитое ухо. Там, под ухом, наверное хорошо консервировались интересные запахи канав, заборов и свалок. Псы обменивались информацией и грубовато ластились ко мне. Еще они начинали прижиматься ко мне, если замечали людей, одетых в грязную рабочую одежду. Они не любили и боялись таких. И правильно делали.

В подмосковном дачном поселке настоящих рабочих людей нет.

Есть выжиги и рвачи, застошно пьяные с утра на нечестно полученные деньги за халтурный ремонт крыши, бессовестно проведенный газ или гнусно поштукатуренный потолок. Такие подонки собак ненавидят на всех широтах. Они убили подругу Шалопая и Рыжего – Машку. И собаки знали убийцу и облаивали его. Это был водопроводчик. Он говорил мне, что не убивал собаку и что псы не лают, когда он одет в чистое, а не в рабочее платье. Он врал.

Мы часто ходили на кладбище, где бывали плохо одетые люди, но ни Рыжий, ни Шалопай не боялись их и не лаяли на них. А оборванца-сторожа даже любили. И когда дед со старухой копали картошку возле шоссе под осенним дождичком, то мои товарищи валялись под кладбищенским забором и любовались на чужой труд. А когда дед садился на перекур, они тоже принимали сидячее положение и делали виноватый вид: мол, мы знаем, что плохо не трудиться, позорно даже и испытываем муки совести, но что поделаешь?

Как и все собаки мира, они отрабатывали хлеб ночным лаем. Еще Шалопай считал святым долгом атаковать мотоциклы и грузовики.

Заметив в перспективе лесного шоссе машину, Шалопай делал отсутствующий, ленивый, типично хулиганский вид. Как та шпана с лохмами, которая пугает вас вечером возле подъезда. Отлично зная из опыта, что пес не послушает, я все-таки орал: «Не смей!», «Я те дам, сукин сын!», «Замри, бандит!», «Это плохо кончится, дурак!» и т. д.

Тем временем шерсть на загривке Шалопая вставала осокой, а в грудной клетке рождалось тонкое, жалобное стенание. Он как бы жаловался на то, что ненависть к приближающемуся грузовику выше его сил, и он даже не может выразить ее нормальным собачьим лаем.

Шофер замечал приготовления Шалопая и притормаживал. Кому охота ломать решетку радиатора?

Шалопай прыгал к переднему колесу под острым углом, отшатываясь в миллиметре от смерти, взрывался воющим, истерическим, безобразным лаем и мчался возле заднего колеса, желая прокусить покрывку.

Шофер прибавлял газ, грязь летела в морду Шалопая с суровостью разрывных пуль, но на это пес плевал с высокого дерева. Сто метров он считал боевым курсом, а известно, что с боевого курса сворачивают только последние трусы.

Скорость Шалопая на боевом курсе была как у реактивного истребителя. Если бы, несясь с такой скоростью, он одновременно не тормозил изо всех сил, то давно оказался намотанным на колеса. Тормозного парашюта у Шалопая, естественно, не было. Его заменяли задние лапы. Они оказывались далеко впереди передних. И при наблюдении за реактивно удаляющимся псом он сильно смахивал на осатаневшего небольшого кенгуру или на взбесившегося здорового зайца.

Рыжий наблюдал сцену безмолвно, но с одобрением.

Затем Шалопай возвращался и долго чихал, освобождая нутро от выхлопных автомобильных газов. Чихал он с наслаждением, напоминая екатерининских генералов после доброй понюшки табаку. Чихал и Рыжий, но без надобности – так просто, за компанию.

Отчихавшись, Шалопай лез мне под руку, смотрел в глаза, вилял хвостом: спрашивал, доволен ли я им, его реакцией и всем зрелищем? В этот момент хотелось огреть по лохматому заднему месту палкой, но, как вы понимаете, если берешь от псов некоторые черточки для положительных героев полнометражной кинокомедии, то не можешь разрядиться таким естественным путем. Приходилось длинно вразумлять Шалопая словами. Я объяснял ему, что у него нет реакции Али-Клея или, например, дельфина и потому атаки на машины плохо кончатся.

Длинный монолог в свой адрес Шалопай слушал внимательно, но никаких выводов не делал. Однажды я даже видел, как он минут пять не давал проехать милиционеру на мотоцикле – вертелся перед основным колесом и кусал колясочное. Милиционер, к счастью, оказался веселым и добрым человеком – отгонял Шалопая осторожно и даже не пихнул на прощанье ногой, хотя имел к тому великолепную возможность.

Литературовед же от ночного собачьего лая сильно страдал. Вероятно, трезвон трамвая под окном на рассвете или автобусный вой тревожили его в городе меньше, нежели собачий лай на природе. Литературовед-изобретатель высказывал в ночь и гонялся за псами с зонтиком, не сознавая, что такое его поведение представляется Шалопая и Рыжему игрой, направленной к тому, чтобы развеять их, сторожевых псов, тягостное одиночество в холоде, слякоти и мгле осенней ночи, помочь им веселее скоротать вахту.

Как и следовало ожидать, отношения с литературоведом портились день ото дня. Я со все большей язвительностью укорял его полнейшим профанством в самых элементарных знаниях военного дела. Он же утверждал, что один знакомый технократ ценит его идеи, а я просто неосознанно завидую раскованности его мышления и воображения.

Последняя наша встреча закончилась даже ссорой. Литературовед изобрел еще какое-то оружие против подводников, которое должно было уже в обязательном порядке сводить их с ума. Тогда я сказал, что он должен Богу молиться, чтобы никто из подводников не рехнулся раньше времени, ибо именно они поддерживают с обеих сторон так называемый ракетно-ядерный щит. И если кто из командиров лодок свихнется, то это очень опасно будет для всей сухопутной планеты. И что если он даже таких вещей не знает и не понимает, то он король профанов во все века и у всех народов. Тогда литературовед призвал на подмогу Давида: вот, мол, Давид, был обыкновенным технически необразованным пастушонком, он забрел в ряды воинов просто-напросто повидать старших братьев, а тут и показался Голиаф. На пастушонка, когда он вызвался сразиться с великаном, хотели было нацепить шлем, кольчугу, меч – по всем правилам, а он все это сбросил и босым дилетантом, с одной повязкой на бедрах, с легкой пращей в руке побежал на тяжело шагающего, закованного в металл профессионала-великана, который знал все приемы военного дела; а Давид только и умел швырять камнями в овец и коз, когда те не слушались его. И вот паренек врезал великану в лоб и уложил. И в этой древней истории как раз и есть намек на великую пользу дилетантства – так утверждал литературовед.

Я ему сказал, что Давид знал тайну магнита, что, шатаясь с козами по горам, паренек заметил, как некоторые камни притягивают железные предметы. Потому Давид и побежал на великана голым, что в руке у него был магнит. И магнит этот в обязательном порядке должен был попасть великану в его металлический лоб. Потому и поведение старших братьев не является с нравственной точки зрения подлым и мерзким. Они пустили младшего в бой потому, что знали про его шашни с магнитом. И, таким образом, никакого исторического урока пользы дилетантства здесь нет, а как раз наоборот.

Литературовед спросил, откуда я высосал такую чушь. А я ему сказал, что надо знать древние арабские лоции, но, сказал я еще, такие вещи в вашем университете не преподают. Тут он заметил, что я пишу с грамматическими ошибками, и это позор, и что мне следовало бы нанять себе репетитора, если я не удосужился получить филологического образования в свое время. Тут я ему сказал, что если все филологи такие, как он, то я скорее пойду коз пасти, нежели к ним на выучку.

Вот так мы распрощались. И я пошел в последний раз прогуляться с товарищами-собаками. У меня сердце разрывалось от тоски при мысли о нашей разлуке. Удивительно я привык к Шалопая и Рыжему за этот месяц. Но поделаться ничем нельзя было. Я уезжал по вызову отдела кадров нового, только образующегося пароходства. Начальником кадров там оказался мой старый приятель. И он отправлял меня в рейс дублером капитана на полгода. Это была такая выгодная синекура, что отказываться я и думать не смел.

Уже выпал и установился снег.

Низкое небо ранней зимы. Тишина покинутых дач. Далекий звон колоколов.

На выходе из поселка нам встретилась девица в норковом манто с беленьким моськой на поводке. Завидев моих псов, моська взорвался злобным лаем и заметался, как щуренок на спиннинге. Девица приподняла песика на поводке, и он завращался в разные стороны, продолжая дергаться и булькать ненавистью. Моська крыл моих товарищей визгливой руганью молодого евнуха.

– Возьмите, пожалуйста, вашего мопса на руки, – сказал я девице.

– Он не боится! – с гордостью за отчаянную смелость евнуха, которому в жизни совершенно нечего терять, сказала девица и опустила моську на снег. Псы прошли мимо, старательно сохраняя невозмутимость плебейских душ. И я уже вздохнул было спокойно, как шавка рванулся вслед за моими товарищами с какой-то совсем уж безобразно-кощунственной руганью, он просто харкал им в души.

Слон дедушки Крылова был слоном, а мои товарищи были все-таки обыкновенными собаками. Первым утратил выдержку флегма Рыжий и оспорил глупца. Я не успел и головы

повернуть, как Рыжий оказался возле завизжавшей девичицы и трепанул мопса. Шалопай, естественно, тоже как с цепи сорвался.

И кучу малу я разнимал при помощи здоровенного сука. Но так как это была единственная вспышка человеческой злости и даже остервенения у Рыжего и Шалопая, то я ограничился двумя ударами Рыжему по задку и одним ударом Шалопая по боку, причем вытянул я их дрыном, честно говоря, не изо всей силы.

Стенания мопса и девичицы довольно долго сопровождали нас в тиши ранней зимы. И все это время псы держались от меня на приличной дистанции и делали виновато-обиженный вид, но потом все забылось.

Мы ушли далеко за поселок, за высокие и высокомерные ограды богатых дач, в поля и перелески, к любимому нами оврагу с ручьем на дне его, перешли овраг и поднялись на взгорок. Там шуршала от слабой поземки мертвая трава.

Небо было серым равномерно – солнце не угадывалось даже за тучами. Равномерно падали снежинки из неба. Далекое, за оврагом ели упирались в небо сине-зелеными острыми вершинами. Это были старые, очень высокие ели. Над лесом видны были только их верхушки. Ниже темно-фиолетовые стволы ясеней сливались в сплошную широкую полосу, закрывая противоположную сторону оврага. Родные осины стояли уже на этой стороне. Где-то у их подножий под снегом бежал ручей, через который я недавно переходил по узкому, в две доски мостику, и собаки проваливали свои глупые лапы в запорошенные снегом щели между досками.

Живая вода среди зимы и сугробов улучшает настроение. Особенно, если в этой воде есть зеленые, живые водоросли. И все надеешься, что мелькнет рыбка, которая не умеет плавать и не боится морозной зимы.

Откос оврага с моей стороны был весь покрыт глубокими сугробами, их намело возле каждого кустика. И снег, несмотря на серость небес, был бел ослепительно, и еще блестящие отдельные снежинок вспыхивали в нем.

В сугробах носились собаки. Они увидели, что я остановился и закурил, и решили порезвиться, чтобы развлечь меня и самим размяться и прополоскаться в снегу...

Их убили через несколько дней после моего отъезда. Физиоман-литературовед переел плешь администрации жалобами на ночной лай и санитарные нарушения со стороны бесхозных собак. Кроме того, как оказалось, моська принадлежал его любимой аспирантке. Думаю, свою роль сыграл и наш последний разговор, когда я потерял выдержку и слишком уж изобретателя высмеял.

Собак поймали, связали, морды им обмотали тряпками, а потом сбросили в подвал, где они провалялись сутки в ожидании специальной машины-душегубки, которая и отвезла их на мыловаренный завод.

В результате легкомысленный Фюнес перестал маячить за моим героем. Его заменил изобретатель-литературовед, что оказалось началом конца комедии.

Правда, я еще долго не догадывался об этом.

1976

## Путевые портреты с морским пейзажем

*Монтевидео – Рио-де-Жанейро, борт т/х «Фоминск», 128-е сутки рейса в тайм-чартере*

Океанская зыбь при солнышке, слабом ветре и голубом небе так шелк напоминает, что всегда краем памяти мелькает детское: как мать рассказывала про сотворение моря в балете «Дочь фараона». На сцене растягивали синюю шелковую материю, а под ней прыгали на корточках взад-вперед солдаты. Это, конечно, еще в старой, дореволюционной Мариинке было. И вот полуголые солдаты прыгают и подпрыгивают, и крестами нательными трясут в духоте и синей тьме, а снаружи получается шелковое морское волнение. И еще попутно вспоминается, что солдата одного – самого смелого и ядреного кавалера – привлекали для службы Терпсихоре и в сухопутной сцене: когда герой по ходу дела стреляет из лука в льва.

Самого физкультурного и отчаянного солдата зашивали в львиную шкуру, и он в таком виде ходил на четвереньках по краю каменистого обрыва-утеса, а когда в него попадала золотая стрела, то лев рухал с трехметрового утеса лапами вверх. И вот однажды натренированный солдат заболел и его заменили нетренированным. Герой стреляет – надо лапами вверх, а нетренированный солдат как глянул вниз, так и обмер: высища так их всех в лапоть! мама родная! да еще в запеленутом виде-то падать! вас бы зашить! так вас и так через бога в душу с присвистом!.. Лев продолжает по краю утеса бегать: вид делает, что стрела, мол, не сильно ему повредила или даже вовсе пролетела за ветром – не убит он еще, жив, курилка!.. Герой еще одну золотую стрелу – хрясть! – прямое попадание! – аж ребро затрещало! – некуда деваться, падать надо!.. Тогда поднимается царь зверей на задние лапы, крестится передней лапой с истинным российско-солдатским замахом и, осененный, прыгает с утеса задними лапами вперед...

Вот эти оперные конфузы и вспоминаются, когда пробуешь нарисовать морской пейзаж. Слова бегают на четвереньках и ползают на карачках по бумаге, но им там тесно, и скучно, и душно, как солдатам на сцене под театральной материей, и они не способны взволновать бумажную равнодушную гладь.

Трудное, если не безнадежное дело морской пейзаж нынче.

Только напевный лад, величавый ритм сказания, трень-брень древних гуслей способен помочь. Но под гусли современный читатель уснет быстрее, нежели от ноксирона.

*19 октября. Южная Атлантика, на переходе Рио – Бермуды*

Графиня с Мобилом приехали в открытой шикарной машине. И животик у графини был открыт – южная мода – между брюками и рубашечкой голенькая полоска, очень соблазнительная.

Юра собаку в пассажиры брать не очень хотел – лишние хлопоты. А я посмотрел на полоску и в целях изучения графской психологии говорю, что, мол, пса возьмем, если графиня разрешит пощекотать брюшко. Она без всяких яких согласилась. Тут уж деваться стало некуда, я легонько пощекотал нежную мякоть и распорядился тащить мобилловское снабжение – три ящика собачьих консервов и три ящика пива – к себе в каюту. (Оказалось, что без пива пес плохо спит.) Еще ему из-за перепадов давления запрещено пользоваться самолетом, а графиня была австрийская и летела в Вену самолетом в отпуск. Фрахт за собаку от Рио до Гамбурга шестьдесят восемь английских фунтов и двенадцать фунтов персонально тому, кто возьмет на себя службу. Ответственность за Мобила взял я, а двенадцать фунтов посулил матросикам.

Графинюшка угостила пса на прощание пивом – Мобил высосал стакан в одно касание – медленно опустил язык в стакан, молниеносное «хлюп!» – и пуст сосуд.

Потом графинюшка, конечно, капнула Мобилу на огромную тургеневскую голову (сенбернар длинношерстный) слезу, поцеловала в черные губы, порхнула с трапа, прыгнула в открытую машину и поехала на аэродром.

Через полчаса пес удрал. Как он из закрытой каюты вылез – черт знает. А вахтенный у трапа спасовал, когда огромный сенбернар показал ему вместо пропуска дюймовые клыки. Не привыкли еще к псу ребята.

Я позвонил в полицию. В порту провели облаву, но Мобил исчез, как в театральный люк провалился.

Юра Ямкин с трудом сдерживался, чтобы не процедить:

«Я тебе говорил!» Мы с ним сидели в моей каюте, рассматривали шикарные наклейки на собачьих консервах и пили собачье пиво. Графиня на высоте в десять километров пронзала стратосферу над Атлантикой. Возле ее гасиенды в пригороде Рио лежали в засадах детективы. На палубах бразильцы заводили на контейнеры последние оттяжки – до отхода оставалось два часа. Верхушки портовых кранов елозили за окном, щекотали влажную шерстку вечеряющих тучек, как я животик графини давеча.

Розовость заката начинала просвечивать сквозь шерстку туч, и потому небеса над Рио смахивали на собачье брюхо. На душе скребли кошки.

Тут возник матрос Кудрявцев и попросил разрешения сходить на берег поискать Мобила. Этот матрос действительно кудрявый, бурно кудрявый, длинноволосый, а глаза такие голубые, будто в черепе его две дырки, сквозь которые светит утреннее море.

– Где ты будешь искать? – спросил я.

– Не знаю.

– Пускай идет, – буркнул Ямкин.

– Тогда я с ним, – сказал я.

– Вы помешаете, – сказал Кудрявцев тихо и осторожно, чтобы не обидеть меня.

– А кого возьмешь с собой? – спросил я.

– Мне одному надо. Чтобы сосредоточиться, – сказал Кудрявцев.

Я взглянул на Ямкина.

– Пускай идет, – сказал Ямкин.

– Скажи помполиту, что капитан разрешил, – сказал я Кудрявцеву. – Пусть даст мореходку.

– Лучше собачий документ дайте. Паспорт или санитарную книжку. Хозяйка, небось, духами надушена была, а документы в сумочке лежали. От них хозяйкой пахнет.

Мы выдали ему собачью документацию, и Кудрявцев ушел.

– Найдет, – сказал Юра. – Славный парень. Ты к нему приглядывался?

– Нет, не очень... Как звать?

– Саша. Восьмой Александр на судне. Говорят, Александр означает «защитник». И потому так называли тех, кто вскоре после войны рождался. Стало быть, в память погибших.

– Никогда не слышал.

– Мой любимчик, – сказал Ямкин.

Я засмеялся. Трудно было обвинить сурового капитана Ямкина в любимчиках. Хотя... хотя – чужая душа – потемки. После того как капитан закрутил роман с буфетчицей на глазах всего экипажа, от него можно ожидать и других неожиданностей. В конце концов я знаю Юрия Ивановича Ямкина шапочно, хотя нас и связывают особые узы.

Когда приехал агент и Юра поднялся к себе оформлять отход, я отправился на причал, чтобы прогуляться по земной тверди – особенно ощущаешь обыкновенный бетон под ногами, когда вот-вот опять начнется океан. Молю Бога никогда не потерять этого особенного ощущения тверди.

Я шел по кромке причала, переступая кабеля кранов и швартовы.

Теплая муть портовой воды, от которой пахло нефтью, была далеко внизу.

С некоторых пор я замечаю страх высоты. Два признака старения – слабеет острота левого глаза и страх высоты. Потому и шел вдоль самой кромки – приручал страх.

Современные контейнерные терминалы напоминают аэродром размахом пространства и ровностью поверхности. Бесконечные ряды контейнеров на терминале в Рио олицетворяли будущее планеты и в техническом, и в экономическом, и в эстетическом смысле, ибо контейнеры сотворены в едином стандарте для всех стран и народов.

На судах вспыхивали огни. Два буксира тащили по гавани плавкран. В сиренево-серебряной дымке огни буксиров казались неоновой рекламой. С палубы нашего «Фоминска» доносились тяжкие удары – второй штурман Сережа учил доктора Леву боксу.

Из прохода между контейнеров мне навстречу показалась пара – матрос первого класса Александр Кудрявцев и бразильский сенбернар Мобил. Они шли порознь, ничто не связывало их материальной связью, но какая-то невидимая цепь была.

Мобил прихрамывал и иногда прискакивал на трех лапах. Перед трапом пес остановился и призадумался, давая мне возможность как следует рассмотреть себя. Зверь огромный. Губы слегка обвислые, такие бывают у старых благородной старостью актеров; общее выражение морды – задумчивое и добродушное. Шея крепкая, грудь широкая, брюхо подтянуто незначительно – из тех существ, которых мало заботит осиность талии. Хвост тяжелый, пушистый висит прямо вниз, указывая центр планеты Земля с абсолютной точностью. Ноги мощные, лапы круглые, как эскимосские лыжи. Шерсть слегка волнистая. Масть двойная – оранжевый фон с белыми отметинами между глаз, на лапах и груди. На голове и ушах черный налет – нечто вроде маски, придающий псу особенно внушительный – папы римского – вид.

– Ничего, сам пойдет, – сказал Кудрявцев, когда увидел, что я нацеливаюсь на ошейник. Но я все-таки ухватил теплое и жесткое собачье ярмо и повел Мобила на судно под конвоем. Кудрявцев слегка подпихивал пса в зад.

В двадцать три ноль-ноль мы снялись на Бермуды.

*21 октября. Южная Атлантика, на переходе Рио – Бермуды*

Уже давно я перестал по вечерам чаевничать с Юрой. Мы так хорошо пили чай. Смотрели, как он вибрирует в стаканах, как самостийно позвякивает ложечка и мечутся чайинки. И Юра пил вприкуску, а я внакладку. Мы не занимались далекими воспоминаниями. Только чуть-чуть ворошили прошедший день – несколько слов об электромеханике, улыбка в адрес Гри-Гри – старого боцмана... Или:

– Второй раз садится гирисфера компаса. Почему бы это?..

– А черт ее знает почему...

– Групповой диспетчер никогда не научится составлять радиограммы.

– Да, а из Сережи выработается хороший капитан...

– Слушай, ты когда-нибудь огни Святого Эльма видел?..

– Нет, а ты?..

И вот оказывается, что когда в вечерней каюте чай заваривает женщина, то чай делается обычной жидкостью, и уже нет чаепития. И все слова, которыми обмениваются мужчины, обретают только тот смысл, который определен каждому слову в толковом словаре, а зачем их тогда произносить? Они делаются такими же неловкими, как и третий лишний. Пускай уж сидят в словаре под переплетом. И я потихоньку, чтобы не было заметно, перестал ходить к Юре по вечерам: мол, пишу заметки и сочиняю свой сценарий...

Я в одиночестве заваривал чай и пил его, глядя в лобовое окно каюты на несоразмерно пузатые и толстые мачты-краны «Фоминска». Они раздражают тупой, равнодушной тяжестью. И вот я ждал, когда вечерняя мгла окутает краны-мачты, и они начнут терять тяжесть, а потом

последний блик закатной зари соскользнет со стали, и она обретет бесплотность, растворясь в сумраке, и перестанет давить психику мощным уродством...

Теперь у меня есть Мобил.

Пес стоит на диване на задних лапах у окна каюты и смотрит на бесконечность океанских волн, решая вопрос о том, грозят ему эти сине-лиловые длинные существа или заигрывают с ним и ластятся к нему.

– Собака убежала не потому, что успела соскучиться по хозяйке, – сказал Кудрявцев, раскрепляя ящики с пивом и консервами у меня под столом. – Собака рвется с поводка, вперед торопится не потому, что скорее хочет в драку с преступником или там медведем. Просто собака знает, что след быстро выдыхается, и тогда собаке ничего не остается, как торопиться, хотя она медведя или там преступника и не хочет вовсе даже видеть...

Вот такое неожиданное осмысление привычного для меня так же восхитительно, как приход неожиданного сюжетного поворота.

– Расскажи, как ты его поймал, Саша.

Вся цепь поступков и рассуждений оказывается простой, как лапоть. Обошел терминал по периметру и убедился в том, что пес не мог проскользнуть в город, минуя проходы, контролируемые охранниками. Затем встретил польского эмигранта, который говорил по-русски. Пан заверил, что в Рио собак не воруют – нет тут такого бизнеса. Тогда Кудрявцев влез в шкуру и душу сенбернара, очутившегося среди громадных контейнеровозов, автокаров и прочей вонючей техники. А известно было, что Мобил жил на загородном ранчо и к научно-технической революции привычки не имел. Превратившись в сенбернара, Кудрявцев испытал страх перед контейнеровозами. Так как проникнуть в сторону города он не мог и след шин хозяйки безнадежно потерял, то ему оставалось только искать безопасности и возможной тишины, то есть «стремиться к природе» – как выразился Кудрявцев. Сенбернар-Кудрявцев начал отступать от тех мест, где много носилось техники. Это отступление испуганного умного пса привело его, естественно, к воде – к береговому урезу и причалам. С причалов пес-Кудрявцев убрался, поджав хвост и вздрагивая от грохота порталных кранов. Дальнейший путь к природной тишине вел в сторону мола.

У концевой мигалки Кудрявцев вылез из собачьей шкуры и уселся перекурить, помахая иностранным паспортом Мобила и карантинной справкой. И к середине сигареты пес вылез из-под деревянного настила, на котором лежали ацетиленовые баллоны. Мобилу было обещано сохранение личного оружия, знаков различия и медпомощь, ибо он зашиб лапу.

Вот и вся конан-дойльщина. Конечно, здесь еще была удача, фактор везения, но сыщикам всегда везет.

– Чего ты любишь больше всего в жизни? – спросил я Кудрявцева, когда мы закончили обрабатывать лапу Мобила йодом и забинтовали ее резиновым бинтом.

– Природу и книги, – сказал Кудрявцев.

*22 октября. Южная Атлантика, на переходе Рио – Бермуды, траверз мыса Санту-Антониу*

В матросах, как, правда, и во всех двадцатилетних, с которыми сводит судьба, я ровным счетом ничего не понимаю. Главная причина непонимания заключается в том, что я не способен нащупать, угадать, обнаружить духовную цель их жизнью. Мне кажется, они просто живут, живут и больше ничего. А мне почему-то хочется видеть у них цель. Однако я знаю, что такое мое желание субъективно. Быть может, «просто жить» куда более философская штука, нежели иметь сформированную словами цель. Быть может, формулирование цели даже убивает ее, как написанное слово убивает тонкость мысли и как чтение модных ныне книг по технике любви убивает какую-то тайну, которая не убивается, если знания любовной техники приобретаются

самодеятельно. (По судну бродит зачитанная до портяночного состояния «Психогигиена половой жизни» К. Имелинского, перевод с польского, «Медицина», Москва. Молодежь штудировать такие книги в длинных рейсах тщательно и неторопливо.)

Уже давно позади момент, когда я впервые сделал великое открытие – со мной на вахте стоит юноша, который, возможно, мой сын. И вот тот парень с чудесной девушкой, которые сидят обнявшись и целуются без всякого стеснения, теоретически могут быть моими детьми. Это открытие поразило меня. Я повернулся лицом к приступочке, на которой стоит вахтенный рулевой у рулевого устройства в ходовой рубке.

Обычно рулевой находится у тебя за спиной. Ты смотришь на указатель положения руля, а не в глаза юноши-рулевого. Это он зрит тебя перед собой, он изучает тебя вахта за вахтой, он впитывает твои плюсы и терпит твои минусы. А ты ходишь перед рулевым по мостику, как по сцене ходит актер, который не знает, что в пустом зале спрятался зритель. И вот я обнаружил зрителя, и мне стало до смерти интересно, что он обо мне думает и что он из себя представляет. С тех пор сотни юношей матросов прошли передо мной. И ни в ком я не понял духовной сути. То есть я смог бы изобразить внешнюю оболочку, оттенить отличия, создать видимость их характеров, но это только натурализм получится, ибо ни в ком я не понял сути. Сплошная тайна. Сплошная закрытость. Сейф. Туманность Андромеды. Черная дыра. Черный ящик. Последнее особенно верно, ибо я могу предсказать, как будет действовать в той или иной ситуации тот или иной из двадцатилетних, но это механическое предсказание, ибо я не знаю внутреннего состояния, которое сопровождает их в том или ином поступке. Их внешнее, правильно предсказанное поведение будет обусловлено моим присутствием, моим на них наложением, они будут действовать в пику или в пандан моей воле. И, зная свою волю, ее направленность, я могу предсказать их поведение. Но я не смогу ничего предсказать, если они будут действовать вне моего поля зрения, вне поля моей воли, моего телекинеза. Там их поступки абсолютно непредсказуемы и удивительны, как поведение электрона на орбите, – если угадаешь время его появления, то не будешь знать состояния; если предугадаешь состояние, не будешь знать места, где этот подлый электрон в данный миг в пространстве находится.

Кудрявцев нарушает принцип дополнительности. Он оказался старомодной доверчивой частицей, которая позволяет без труда определить и ее координаты, и массу, и время при бытия и убытия в данную точку. Кудрявцев слетел с орбиты прямо мне в руки, как доверчивый скворец однажды влетел мне в каюту в Гибралтаре. Я брился возле умывальника, и вдруг в иллюминатор влетел скворец и безо всяких оглядываний и разведок плюхнулся в раковину и стал плескаться под струйкой пресной воды – умываться, с полнейшей бесцеремонностью оттеснив обалдевшего и обмеревшего хозяина каюты. Я захлопнул иллюминатор, вытер мыло с физиономии и устался на скворца. Тот вволю поплескался, перелетел на стол и устался на меня.

– Тебя как звать? – спросил я.

– Са-ша! – сказал скворец.

Я пошел на камбуз, выпросил колбаски, нарезал ее длинными червяками, покормил Сашу. Потом открыл иллюминатор – мы шли на север, в Мурманск, делать там скворцу зимой было нечего. Но он не захотел улетать. Он жил у меня в каюте до Гётеборга. Там улетел. И всю стоянку его не было. Но на отходе он оказался в каюте. И ехал со мной до Бергена. И только там исчез. Это была первая и последняя птица, которая пришла мне в руки и вверила себя мне с доверчивостью Дюймовочки или Маленького принца. Если бы я был индусом, то не сомневался в том, что душа того скворца переселилась в Сашу Кудрявцева. И я рассказал ему про тезку-скворца. А он сказал, что очень любит скворцов. И для него праздник, когда супружеская пара скворцов сядет на палубу судна за тридевять земель от земли. И как муж-скворец сразу по-хозяйски носом в какую-нибудь доску стук-стук, по палубе туда-сюда шась-шась. А самочка тихо сидит, смущенно, робеет на новом месте, но, видя свойское поведение супруга, тоже начинает обихаживать пароход... Кудрявцев рассказывал про скворцов, и вместе со мной

слушал Мобил, хотя пес при всем своем уме и графских лингвистических способностях никак не мог успеть изучить русский язык.

Когда наступила пауза, Мобил встал, прихрамывая подошел к ящику с консервированным пивом и сделал хвостом отчаянной широты жест, который на русском языке обозначает: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец»!

И мы хлопнули по баночке.

Кудрявцев отправился на вахту, а я лег спать и... «Старику снились скворцы», – сказал бы Хемингуэй.

*24 октября. Южная Атлантика*

У Юры родился внук. Вернее, это внук Степана. И назвали его Степаном. Ситуация типично книжно-романная. Под командой и по приказу Юры погиб товарищ моей юности. И, как положено в красивом романе, Юра женился на красивой вдове погибшего и воспитал его сына. Ну, а если опуститься в прошлое на четверть века, то там лежит пласт разбитых черепков, о которых Юра, вероятно, не знает. Во всяком случае, не дает мне понять, что об этих черепках что-нибудь знает.

В честь новорожденного Степки солнце поднималось в небеса торжественно и насупленно, как парадный генерал на трибуну. Волны катились, держа равнение на его сиятельство – ряд за рядом, рота за ротой, батальон за батальоном, легион за легионом.

Когда волны освещены в профиль, у них не бывает теней: провалы между гребнями высвечены до самых подошв, до тайны последнего изгиба. Так, наверное, высвечивало римское солнце ряды гладиаторов на арене Колизея.

Пена сверкала серебряными сединами или шлемами над чистой синевой переливчатых кольчуг. И слышался бесстрастный лязг смыкающих опять и опять ряды легионов, когда судно пронзало их бездумный строй.

И если в сверкающем утреннем океане все-таки была диалектическая тьма, то она пряталась под гребнями волн, как прячется суровая тень даже под задранными к трибунам подбородками парадных солдат.

Мы с боцманом Гри-Гри искали подходящее местечко для прогулок Мобилу. И нашли его в корме возле румпельного. Мобил сделал свои дела, поднялся на задние лапы у фальшборта и замер.

Оранжевое с белым – на темно-синем фоне! Торжественное сочетание красок – купола собора или купы осенних крон в вечеряющем осеннем небе; золотая парча, свисающая с княжеской ладьи; апельсиновые рощи на Кипре или самолет полярной авиации над синими тородами Антарктиды – вот как выглядел наш Мобил, когда он стоял, подняв передние лапы на фальшборт в корме «Фоминска» и философствовал над морем, вернее, над океаном. Торжественное глубокомыслие без конкретного предмета раздумий, парение духа над бесконечной дорогой Вселенной, бездумье высшей мудрости; покой божественного всезнания, который хранится в глубинах здоровой жизни под толщей тревог о хлебе насущном, о месте под солнцем, о перевыборном собрании, как хранится семечко в яблоке – семя знает все тайны мира, кроме обыкновенных тревог кожуры и боли плоти.

Черная зависть снедала меня, зависть к собачьему всезнанию истоков покоя. И тогда бес, который сидит в каждом человеке, искусил мою руку. Она протянулась к шерстяному брюху Мобила и начала почесывать его.

Этот сладострастный бес сдергивал с пса величавость, а не моя рука.

Мобил суетно и торопливо опрокинулся на спину и за жмурился в предвкушении обыкновенного земного блаженства. Он без всяких колебаний отдавал космические парения своего духа за наслаждение от почесывания брюха. И ничего не оставалось, как чесать и чесать его

теплые бока и живот. Мобил погружался в состояние блаженного земного транса. Он распустил нюни, безвольно обнажились клыки, лапы начали подрагивать, безотчетно и неуправляемо, как кожа лошади, когда над ней кружат слепни. Греховное выражение плавало по его шикар-ной морде, как таинственная атмосфера по Венере или улыбка по физиономии Моны Лизы. И после того как мне надоело чесать его сивый живот и розовые пахи, он еще пару минуток продолжал лежать на спине, не открывая глаз. И все это время блаженно-плотский экстаз тихо выщезивался из псины, как выщезивается воздух из камеры через крохотную дырочку прокола. Наконец Мобил возвратился с грешной земли в космические дали своего обычного состо-яния, перевернулся на брюхо, полежал в этой нормальной позе еще минутку и тогда только окончательно обрел торжественную величавость древнего философа.

О, нежность губ твоих, сын суки, от шакалов происходящей шей!

О, метеоритная твердь твоих клыков, дикий ты зверь!..

О, ток твоей крови ленив и могуч, как древний Нил!

О, скажи мне, почему при взгляде на тебя с моего прозаического языка капает выпрен-ная высокопарность Беллы Ахмадулиной?

Грубоватые флотские люди маскируют свою высокопарную нежность к судовым собакам, изменяя, например, ударение: говорят не «собака», а «собак».

И старый боцман Гри-Гри сказал:

– Собак в порядке! Это порода, которая за ласку все тебе сделает, а грозить ремнем – ни-ни!

Я посмотрел на Мобила и подумал, что с таким же успехом можно было бы грозить аль-пенштоком Альпам или пальцем Александру Невскому.

– Варгина не видали? – спросил Григорий Григорьевич.

– Нет.

– Господи, и когда рейс кончится! – вздохнул боцман, и глубокая предпенсионная тоска наполнила его глаза.

Лень молодых матросов, которые чихать хотят на любое усилие, медленно, но верно сво-дит Гри-Гри с ума. Он совсем древний человек – помнит Кирова и бесплатное кино на огром-ных экранах площади Урицкого в дни народных торжеств...

С утра и до вечера боцман рыщет по укромным закоулкам теплохода в поисках того или другого сачкующего матроса. Гри-Гри напоминает мне Рики-Тики-Тави. В полнейшем одиночестве он ведет смертельную борьбу в подвалах большого стального дома с десятком молодых Нагов.

Но иногда он вызывает обыкновенную жалость и напоминает дряхлого виннипегского волка, огрызающегося и отбивающегося от своры собак на узком карнизе возле вершины отвес-ного утеса.

Матрос Варгин – неформальный лидер и самый заметный бездельник – доводит боцмана – формального лидера палу бы – до слез меньше чем за минуту. На тридцать пятом градусе южной широты двадцатилетний Варгин упрекает старика в том, что тот носит ватник, а ему, Варгину, не дает. На празднике Нептуна Варгин исполнял роль черта. Надо было видеть, с каким злобным торжеством он волок старика к соленой купели и мазал в традиционной грязи, когда выяснилось, что боцман, который сто раз видел экватор без всяких тапочек, не имеет при себе дурацкого «диплома»!

Но самое тяжкое для Гри-Гри – трапезы. Матросики наши, честно говоря, зажрались. Достаточно сливочному маслу чуть пожелтеть, чтобы они начали его обнюхивать с брезгли-востью и подозрительностью избалованных кошечек; молодые физиономии изображают край-нюю степень отвращения и возмущения, издают рыгания, имитируются припадками бурной тош-ноты и острого желудочного расстройства. И Гри-Гри, только что по-русски намазавший в палец масла на ломоть, сделавший это неторопливо, с предвкушением удовольствия, доб-

ротом, как он делает плетеные маты, теряет аппетит и смачный кус не лезет ему в глотку. И не лезет главным образом от бессильного раздражения. Ну по какой статье устава накажешь этих балбесов, если их якобы тошнит?! Старик ругается, бросает кусок и уходит, а Варгин орет ему вслед:

Чита город областной – хорошо в ём жить весной!  
Чита город окружной – для народа он нужной!

Вирши эти – боцмана. Иногда из него вываливаются целые баллады, но чаще он рождает две – четыре строфы. Пути боцманской поэзии абсолютно неисповедимы. В разгар работы он вдруг застывает с остекленелым взглядом и открытым ртом. Пауза длится секунд тридцать. Затем следует несколько мгновений оживленной, но бессмысленной мимики – это сами родовые муки. И:

Как бермудский их народ  
Рассадили огород:  
Куда хошь могишь пойтить,  
Чего хошь могишь купить!

Выродив такой стих, Гри-Гри понурается и плетется искать неформального лидера. А я поднимаюсь в каюту, чтобы записать боцманский шедевр.

С четырех утра понедельника ветер зашел на траверз левого борта, семь-восемь баллов, приняли дрейф пять градусов, скорость при такой погоде сразу падает на целый узел. Какая-то тепленькая мгла, серятина. Она тушит даже ослепительную пену кильватерного следа. Татаро-монгольское нашествие крепеньких, короткогривых волн с севера. Они бегут дружными косяками и фыркают без злобы, но своенравно.

Гадали с Юрой над картой океанских путей – выбирали самую выгодную дорожку через океан. За работой он напевает свою любимую: «Простите пехоте, что так неразумна бывает она...» Чудесно получается! Когда Юра напевает или играет на гитаре, то не думает о зрителе и слушателе – он плавает в своей глубине и плевать хотел на реакции окружения. Кажется, именно такого стиля певец победил в рассказе Тургенева. Оно и понятно – глухарь вон ничего не слышит, когда сам поет; это и есть натуральное, природное искусство. Я знаю, что Юра пробрался из эвакуации обратно на запад шестнадцатилетним парнишкой в военном эшелоне – пел солдатам всю дорогу, и они его без всяких пропускных документов довели. Теперь Юра совсем сед и голос его звучит надтреснутой бронзой, с которой вовсе слезла позолота, но когда он тихо поет, делая предварительную прокладку в штурманской рубке, то ему покорны все возрасты – от Гри-Гри до Варгина.

Быть может, история с Викторией так оскорбляет меня тем, что Юра изменяет не жене, а врожденному артистизму. Спутайся он с Мариной Влади или Полиной Виардо – пожалуйста! Но с Викторией... Мне легче было бы, если б я мог поверить, что она его любит без расчета выгоды – втрескалась баба, и все тут! И я ищу признаки такой ее влюбленности, хочу их найти. Вот читал недавно «Штиллера» Фриша. Он утверждает, что влюбленные женщины мнят себя снова десятилетними девочками.

Какая бы по счету любовь у женщины ни была, она возвращает даму к ощущениям самой первой ее любви, то есть в девочкины времена; она (любовь) наполняет сорокалетнюю даму девочкиной прытью, заставляет ее говорить милым тоненьким голоском детские глупости, задавать наивно-дурацкие вопросы об очевидных вещах, потуплять глазки и пугаться мотылька. И все это Виктория проделывает. Тогда, быть может, она воистину влюблена? Но я никак не могу в это поверить. И мое горькое разочарование капитаном по качеству сродни

тому, которое я испытывал, когда мы должны были взять в Лондоне белого носорога для Московского зоопарка, готовились к этой перевозке, детали продумывали, а потом вдруг белого носорога везти нам не дали. И я ужасно как расстроился. Так вот, если то мое разочарование умножить по силе на тысячу, то получится похоже на теперешнее, потому что они какого-то одного качества обидности.

Я из тех, кто последним замечает, что кто-то в кого-то влюблен; из тех, кто в первую очередь ловит те флюиды, которые касаются собственной персоны – все через себя!

И только по какому-то изменению отношения Ямкина ко мне, которое много раз совпало с появлением близко Виктории, я начал что-то подозревать. А потом, кажется, на пароходе к Антверпену, мы взяли молодого лоцмана. И Виктория принесла на мостик поднос с кофе и сэндвичами. Лоцман от сэндвичей отказался, заявив, что на всех социалистических судах сэндвичи одинаковы и ему надоели. Тут он понял, что сморозил обидное, спохватился и сказал, что наша стюардесса – это уже не стюардесса, а голливудская кинозвезда, она просто потрясающе красивая женщина!

Виктория явилась тогда на мостик в белом с синим горошком платье. Волосы ее были только недавно вытравлены и сверкали простынной белизной, а лицо было накрашено с яркостью цирковой афиши.

В полутьме ходовой рубки, в суровом мужском мире отточенных команд и официально-вежливых отношений возник перестук каблучков. Скажи мне, Боже, что станет с девушками, женщинами, романистами и режиссерами, когда в уставшем мире будет принят закон, по которому на все цокающие в ночи, в утренней тишине, в коридоре, на лестнице, на тротуаре, затихающие под сводами, торопливые, размеренные, острые, легкие и т. д. женские каблучки будут поставлены обесшумливающие амортизаторы?

Что такое женщина, если она не слышит стука своих каблучков на мраморе театрального вестибюля!

Какое оружие будет выбито из рук амура! Небось, все амурсы объявят голодную или сидячую забастовку, а кинорежиссеры, те просто повесятся в массовом порядке – что это за фильм, если по асфальту не удаляется или не приближается стук каблучков?

Голландский или бельгийский лоцман аж язычком прищелкнул в такт перестуку Виктории. И Ямкин вдруг взглянул на меня с такой счастливой мужской гордостью, так стремительно помолодел, выпрямился, так махнул рукой по сединам и морщинам, что даже мои тугие глаза отверзлись, как у испуганной горлицы. И я заметил во взгляде капитана насмешливый упрек: мол, как же ты-то не примечаешь, какая небожительница ходит между нами; как ты позволяешь себе на нее цыкать и заставляешь по три раза перемывать умывальники? И тут я понял, почему со стороны Юры последнее время был по отношению ко мне какой-то едва заметный, тщательно прикрытый, но холодок. И сразу же я, конечно, как и все мужчины, начал проявлять к пассии приятеля повышенное, неискреннее, удручающее самого себя уважение; горячо благодарю после каждой трапезы в кают-компании, как будто она кормит меня собственным молоком; вытаскиваю зажигалку, как только она протягивает руку к сигарете и т. д. и т. п. И все это надо прикрывать улыбкой сочувствующего, хранящего прекрасную тайну товарища.

*25 октября. Южная Атлантика, на переходе Рио – Бермуды*

Над океаном ветер иногда зрим. Когда облака лежат в небесах огромным веером, исходят из одной точки горизонта, то они распластаны по ветру. Такие сходящиеся в одной точке длинные облака порождают обостренное ощущение перспективы и величия океанского пространства.

*26 октября. Южная Атлантика, на переходе Рио – Бермуды*

Все у нас с Юрой получилось, как у большинства моряков, – в начале знакомства кажется, что чужие совсем люди, а затем с каждым часом и днем выясняется все больше точек и узлов, где пересеклись линии жизней и завязывались ее этапы; и все больше оказывается общих товарищей и знакомых анекдотов.

Когда судьба свела нас на «Фоминске» и отправила в долгое тайм-чартерное болтание по планете на службе шведской фирме, я еще не знал, что он женат на Галине и командовал подлодкой, на которой погиб Степан. Нужно было угодить под забастовку докеров в Каннах, чтобы узнать о таком узелке.

И этот узелок сразу завязал нас бабьим, самозатягивающимся сплетением. Нужно было вместе делать утреннюю пробежку по спящим Каннам, по сырому от росы гравиию, под сырими от росы пальмами, оплетенными сырым от росы плющом или диким виноградом, чтобы вдруг всплыло имя Степана и перевело нас сразу на «ты».

В начале рейса мы на стоянках неукоснительно делали большую, километров по семь пробежку, а жили еще по московскому времени. И когда в Каннах было четыре утра, по судовому было уже семь.

Чудесные рассветы. Чудесные первые просыпающиеся голоса птиц. Чудесный туман среди пустынных аллей. И мы трусим по шоссе, а навстречу редкие автомобили загулявших французикиков – возвращаются из загородных ресторанчиков. И обязательно на правом плече водителя лежит женская головка – спят усталые подружки. И каждый француз обязательно шевельнет плечом, пробудит подружку, покажет на нас – бегунов и притормозит, предложит подвезти до города. А потом на деревья падает первый луч солнца и птицы наполняют весь мир сверкающими трелями первых песен...

Возможно, именно на контрапункте такого полного мира под оливами, в пику нежности женских головок на плече любимого, повела нас однажды в суровость своего прошлого. И Юра рассказал, как его лодка попала в аварию, и они начали булькать, и как он послал старпома в загазованный отсек; знал, что не вернется старпомом, но послал. И старпомом знал, что не вернется, но, ясное дело, пошел. Скинул пилотку, и почему-то фуражку надел поверх противогаза, и пошел. Юра это рассказывал на каннском рассвете, когда мы сидели на обочине шоссе, а мимо ехали загулявшие французики. И я не сразу понял, что он рассказывает мне об известном, о том, что я уже знаю из приказов-разборов, из рассказов товарищей, но не очевидцев, не участников. А между официальным разбором аварии и правдой всегда огромная разница. И я все выслушал, не говоря, что Степан мой давний товарищ был. И узнал, что Галина ходила к Юре в госпиталь, когда он ждал суда и сам казнил себя ежесекундно и хотел умереть, а она – вдова Степана – все ходила и ходила, и вернула его к жизни, потому что ему надо было ее утешать, ей помогать жить. А суда не было – не нашли никакой вины у командира – свехредкий случай. Однако, как положено, демобилизовали при первом сокращении Вооруженных Сил – еще в пятьдесят шестом году.

И я в пятьдесят шестом демобилизовался.

И сблизила нас с Юрой не так, быть может, память о Степане, как похожесть судеб. Военному моряку на торговом флоте прижиться очень тяжело. Ямкин – единственный из моих знакомых военных, который стал капитаном.

Он носил уже большую звезду, командовал ПЛ и упал до третьего помощника на буксире в Таллине, потом пять лет лоцманил в Выборге, одновременно заканчивал Высшую мореходку заочно, затем второй и старший помощник уже на торговых судах в Эстонском пароходстве и пятый год капитан. Трудная мужская жизнь. Самоограничение и воля. Узда и цель.

Внешне он немного напоминает Александра Грина – некрасив и морщинист, замкнут и малоразговорчив, но если говорит, то с покоряющей искренностью. И совершенно седой.

*28 октября. Южная Атлантика, на переходе Рио – Бермуды*

Женщина должна быть красива какой-то персональной, очень своеобразной красотой, чтобы ее не портила обнажающаяся при улыбке верхняя десна. У Виктории десна видна на сантиметр выше зубов – красная влажность. А когда Виктория хохочет, то даже перепончка выглядывает, которой природа прихватила верхнюю губу к десне. Хохоchet же Виктория не тогда, когда ей хорошо и весело, а когда она считает смех необходимым с какой-нибудь рациональной целью. Главным образом, конечно, чтобы провоцировать противоположный пол.

Ужасно, когда тридцатилетняя судовая буфетчица неколебимо верит в свою обаятельность, непреходящую юность; и когда неколебимость ее веры в свою неотразимость и в свои прелести поддерживается реакцией окружения – маркитантка в армейском обозе в былые времена.

Моряцкие мужские гормоны подслеповаты или даже вовсе слепы – как кроты, – сидят всю жизнь в глубинах нашего организма, роют там ходы и норы и реагируют не на женственность, а на женское, на четкие и ясные сигналы, то есть на полоску трусиков, когда буфетчица моет трап, подоткнув юбку. Или когда она таким же манером подтыкает верхнюю губу, обнажив влажное красное. Вот и весь фокус. И больше всего меня бесит именно примитивность фокуса. Ведь это уже и не фокус, а чистой воды мошенничество, примитив неандертальский, издевка над свободой мужской воли!..

Себя и других судовых женщин Виктория называет «девушками»: «Даже мы – девушки – не хотим с Мариной на берег ходить: она девушка капризная!» Марина дневальная и тоже, конечно, не Клеопатра, но хоть держится скромно, а это как раз Виктории и не нравится.

Без свидетелей Ямкин называет Викторию «Чекушечка моя». Как-то в Рио-де-Жанейро он: «Ты здесь, Чекушечка моя, сразу без нас заблудишься, не в тот переулок свернешь». Она: «И почему они меня Чекушечкой зовут, не знаете?»

«Они» – она так показывает свое знание шестка, свою смиренную подчиненность капитанскому величию. Спросишь: «Где капитан?» – «Они сказали, что кушать не будут»...

И вот Виктория интересуется: «И почему они меня, хи-хи, Чекушечкой зовут, не знаете?» А зовут «они» ее так ласково и миниатюрно потому, вероятно, что если от Виктории шкаф со спиртным не закрывать, то она весь день будет в полсвиста, а к вечеру надерется...

– Хотите, он вас Мерзавчиком звать будет? – сказал я тогда в Рио. – Изящней Мерзавчик, правда, Виктория Николаевна?

Она, конечно, свое хи-хи, а Ямкин потемнел. Морщин у него в моменты таких потемнений делается в два раза больше, чем в светлые периоды, – как будто все извилины мозга пропечатываются сквозь лобную кость. Здорово ему досталось в жизни, если к сорока шести годам он по морщинам, пожалуй, Александра Грина перегнал. Еще очень давно, когда нас с Юрой впервые свело на военной переподготовке, он был назначен старшим группы, а звали мы его Старик. Теперь он зовет меня ведомым, а я его ведушим. Но это в хорошие моменты. А в Рио Юра за моего «мерзавчика» обозлился и уставился на меня стальными суровыми глазами. Однако взгляд его ныне имеет только внешность уверенной суровости. На дне же глазных яблок залегла колеблющаяся тень.

Ева протянула к яблочку лапку. И Ямкин уже по всем статьям начинает стареть, потому что мучает его неуверенность, страх, бесит ревность, уже не знает он, где добродушная и не оскорбительная шутка в адрес его пассии, а где замаскированное оскорбление, а где обыкновенная издевка. И на все мнимые и настоящие угрозы и поползновения ему хочется рычать, и клыки обнажать, и хвостом себя по ребрам лупцевать. Теряет себя капитан. Скользит, сползает, а внешне взгляд суров и целостно угрюм. Но не меня же можно внешностью обмануть. В отпуск бы ему на сушу на полгода. Всю свою историю человечество решает любовные

вопросы и приводит их в порядок на земле. Не место такими делами на корабле заниматься. Скользя на корабле палуба.

Ямкин засуровился на «мерзавчика», но при этом он еще испытывал за меня и неловкость – ему больно было, что я так плоско шучу и тем подрываю свой авторитет в глазах его утонченной возлюбленной.

Мы продолжали прогулку по Рио, то есть по магазинам. И в каждом Виктория тянула нас к женскому отделу и прикладывала на себе («по своей полноте») черные пояса, растягивала на пальцах паутинные трусики, трясла бюстгалтеры и умело совала в сумку бесплатные рекламные буклеты.

Тут надо заметить, что и сам я питаю слабость к ярким рекламным штучкам. И Виктория прихватывала по рекламке и для меня. Но даже это не могло заглушить во мне омерзение от того, как ей надо было крутиться перед нами с прикинутым на грудь бюстгалтером или растягивать на кулаках колготки. И при этом от волнения у нее краснела шея и очень заметными становились беленькие пупырышки на декольте.

Выйдя из очередного магазина, Виктория сразу брала нас обоих под руки, крепко вцеплялась, особенно на уличных переходах – ведь маленькой обаятельной девочке положено бояться уличного движения и говорить: «Ой, какой он большой, этот автобус! Объясните, как это он тут помещается, такой бо-о-ольшой! Ой, этот нас задавит!.. Ой, я на каблуках такая неустойчивая! И вообще, хи-хи, я не люблю быть высокой – я стесняюсь, когда я высокая!» От ее цепкого прикосновения мне становилось так гадко, что хоть волком вой. В ее хватке была неколебимая уверенность в том, что мне это приятно. И ее наглая уверенность в своей победительности, маркитантская уверенность, что любой – от генерала до обозника – готов за ее прикосновение кошелек отдать вместе с орденами, – эта ее уверенность больше всего меня бесила. Значит, она не чувствует моего омерзения. А если так, то, значит, я потрясающий актер! И мое старание как-нибудь не оскорбить Юрины чувства прорвавшимся наружу омерзением к предмету его страсти полностью удастся. Но именно это-то и было мне тошно.

Интересно, что со мной Ямкин никогда не говорит о жене, даже не произносит ее имени. Но когда рядом Виктория, часто вспоминает жену и произносит ее имя «Галина»... Садизм? Ведь он знает, что никакой женщине, самой тупой, не может быть приятно, когда ее любовник только и делает, что вспоминает о жене. Или он специально поддерживает в Виктории ревность, чтобы сильнее привязать к себе? Или это совесть? Уравновесить угрызения хорошими словами в адрес далекой обманутой?

Надо признаться, Виктории хватает воли, ума и актерских способностей никак не реагировать на появление «Галины» в самые неподходящие моменты. Это, конечно, не ум и не воля – это точный инстинкт. Чем меньше ума у женщины, тем она хитрее и точнее.

Прогулочка по Рио закончилась тем, что Виктория углядела графинчик-статуэтку голого мальчишки. При помощи электронасосика мальчишка выпускает из деликатного места струйку вина или водки – в зависимости от вкуса хозяина.

– Ой, всегда я деньги на безделушки трачу! Ой, какая непрактичная я! Ой, мама за мои сувениры ругается, хи-хи! Но это очень чудесный амур! Мы его купим?..

И бывший командир подводной лодки, переживший высокие трагедии, ни разу в жизни не праздновавший труса мужчина, занялся подключением батарей к насосику, выяснял у бесити-продавца, почему струйка льется вбок, а не прямо – дефект это или так задумано? И все приговаривал: «Интересную ты штуку обнаружила! Ну, ведомый, нравится? Здорово оригинально, а? Сейчас, стало быть, на судне коньяком опробуем, да?!»

*01 ноября, прошли Ресифи и Сан-Роки, средняя скорость 19 узлов*

Южный крест, слава богу, уже низко над горизонтом. За экватором я всегда чувствую себя изгнанником. И ностальгически грущу по Медведице. Ночью глядел на небеса в бинокль. Прощался с двумя маленькими и очень красивыми галактиками. Они правее Млечного Пути, если смотреть на зюйд. Названия этих галактик я не знаю, но легко нахожу их в южном небе.

Меня давно уже перестало удивлять отсутствие у матросов любознательности и любопытства к звездам. Тысячи часов они проводят на мостике, где всегда есть бинокль. И ни разу при мне молодой человек не посмотрел на звезды сквозь оптику. Правда, я как-то поймал самого себя, что живу возле Пулкова всю жизнь, но так и не собрался посмотреть на космос в телескоп. И ведь так никогда не соберусь, вероятно. А более величественного зрелища не может быть для смертного.

Кудрявцев как будто угадал мои мысли и попросил показать Южный Крест. Потом спросил название отдельных звездочек в Большой Медведице.

Я полистал астрономический ежегодник и прочитал медвежьи имена: Дуббе, Фекда, Алиот, Мизар, Бенеташ... Пахнуло древними арабами, греками, римлянами... и Феклой.

– Люблю ходить по болоту, по трясине, – сказал Кудрявцев.

– Почему? – озадачился я его переходу от космоса к тине.

– А там нельзя останавливаться.

– А чем это хорошо?

– Ну, ничего не остается, как шагнуть шустро, прыгать даже и бежать. И в глазах только кочки и мелькают. Потом на твердь выберешься, присядешь, закуришь и сразу всю природу вдруг заметишь и оценишь. Как с самолета на парашюте спрыгнул.

Саша служил в авиации, но прыгал только единожды. Был шофером заправщика и аккумуляторщиком. Деревенский. Отец после войны сильно начал пить, ушел из семьи, сейчас еще жив – работает на рыбопроизводной станции под Приозерском, выкладывает веники по берегам прудов для кормления рыб. Кудрявцев с отцом не порвал, ездит к нему и с ним рыбачит.

Узнал от Саши, что с незапамятных времен в наших деревнях известны наркотики.

По полю цветущей конопли гоняют лошадь. Цветочная пыльца налипает на лошадиный пот. Пену с лошадиных боков соскребают, сушат, мешают с табаком и курят. Называется «дурь».

Накурившиеся дури видят черно-белое кино как цветное, видят еще волшебные сны.

Атлантику Саша называет Океан Океанычем, но это не значит, что он испытывает к огромным пространствам соленой воды положительные эмоции. Нет, просто не любит панибратства с природой. И морщится, если, например, Индийский океан Варгин назовет Индюшачьим. Но плавает Саша только для того, чтобы заработать денег, обеспечить семью на год-два и закончить рыбоводческий или автодорожный техникум и потом работать на земле.

Я знаю высказывание одного большого нашего писателя. Он определяет и сегодняшнюю Россию как страну «приозерную».

Она «приокеанская», как бы такое слово ни резало ухо человеку, влюбленному в словарь Даля.

Кудрявцев хочет жить и работать при озере, но он отлично знает степень машинности современной России и ее океанскую грохотность.

– А почему не тянет стать моряком, капитан? – спросил я.

– Командовать надо будет, – объяснил он. – Не люблю... Меня в полковую школу на сержанта посылали учиться. А я в кусты ушел. Мне рядовым больше нравится. Вот боцманская должность – одно страдание...

– И много у вас таких солдат было, которые в маршалы не стремятся?

Он потеревил кудри и сказал, что много, даже полковую школу якобы пришлось начальству расформировать.

С обычной точки зрения развит он слабо. Как-то проводили викторину. Нужно было назвать пять знаменитых картин Репина. Он хотел всадить в Репина то «Боярыню Морозову», то «Переход Суворова через Альпы». Я пристыдил. Так теперь он и Варгин собирают из всех журналов кроссворды и разгадывают – повышают культурный уровень.

Варгин весь состоит из тех современных деталей, которые уже стали штампами: магнитофоны, записи западной музыки, Клячкин. Два родных брата – официанты, то есть халдеи на его языке. Сам на официанта никак не похож – всегда небрит, на руле стоит в красной фетровой женской шляпке с пером. В последнем советском порту – Калининграде он поднабрался, и Юра с ходу разжаловал его из матросов первого класса в уборщики. Плавать Варгин привык, к морской работе его тянет, выклянчил себе право стоять все-таки на руле и стоит в узкостях замечательно, о значительном уменьшении заработка (уборщик очень мало получает) он не переживает, прозвище у него Испанец.

– Почему вас так зовут, Варгин? – спросил я у него как-то в подходящий момент.

– А вы никому не скажете?

– Нет?

– Если скажете, мне мешок завяжут.

– Ясно. Говорить не буду. Может, напишу, – успокоил я его.

– Это пожалуйста! – легкомысленно согласился он и перешел на шепот, хотя вокруг нас была пустота рулевой рубки и пустынное море. Оказалось, в Севилье у Варгина есть любовь – испанская девица, с которой он познакомился в Марселе два года назад. Она пишет ему письма до востребования в Ленинград. Родилась в СССР, потом родители вернулись на родину. В письмах Карменсита молит Бога и всех святых Марий завернуть Варгина в фалангистскую Испанию и называет его женихом. Она рыдала на причале, когда они расставались в Марселе. Она присылает ему красивые открытки и шикарные проспекты испанских коррид. Больше всего на свете Варгин боится, что корриды попадут в отдел кадров.

Девицы любят Варгина. Девицы вообще чаще любят разгильдяев, нежели степенных семьеустроителей.

– Сколько матери? – поинтересовался я.

– Сорок три. Медсестра была, а упала, руку поломала, гипс неверно наложили, нерв передавили, рука завяла. Теперь усыхание по всему телу распространяется. Правда, у матки и раньше здесь, – он покрутил пальцем возле патлатого лба, – не все мокро было. Гардеробщицей работает. Тридцатку получает. В той же больнице, где сестрой была. А батька киномеханик. Братья халдеи – хорошо прихватывают...

И вот этот Испанец по всем признакам – неформальный лидер палубы. Почему? Почему даже Кудрявцев к нему явно тянется? А ведь мне последнее обстоятельство почему-то обидно...

*04 ноября. Бермуды, порт Гамильтон, выгрузка*

Около пяти утра по местному разбудил Мобил. Он положил тяжеленную лапу прямо мне на физиономию. Не знаю, что испытывают в такие моменты занесенные альпийским бураном путники на Сан-Бернаре, но я испугался – кто-то тяжелый и шершавый шарит тебе по лицу. Потом пес убрал лапу и лизнул меня в губы, будто я банка с пивом. Потом взял за руку зубами и потащил с койки.

Я сел.

Было очень тихо – как бывает, когда привыкшие к гулу двигателя уши еще ценят и лелеют стояночную тишину. И в этой тишине я услышал приближающийся собачий лай. Лай в неподвижной бермудской ночи.

Мобил тащил к окну – оно было приоткрыто, а он хотел, чтобы я совсем открыл его в предутреннюю тишь.

Сквозь тишь и гладь скользил в океан рыбачий сейнер. С носа на корму и обратно бегал по рыбачку черный дворняга и лаял в благодать.

Я уступил место у окна Мобилу. Он стал задними лапами на диван, а передние сунул в окно и поверх них положил огромную голову.

Он молчал, но бермудский рыболовный пес сразу его заметил, и тоже умолк, и застыл на корме сейнера.

Я видел, как хвост Мобила ласково задрожал. Этого бермудский псина уж никак не мог видеть, но тоже завилял хвостом. Он ехал мимо нас далеко внизу и тихо перемещался вдоль борта сейнера в самую корму, а на корме поднялся на кучу сетей и так и стоял там, виляя хвостом, и молчал, пока не исчез за молом. Тогда Мобил вздохнул, проглотил слюну, опять вздохнул и опустился на диван. Вероятно, он пожелал бермудскому дворняге счастливого плавания. А мне он сказал нечто вроде: «Ты неплохой человек, и я не хочу тебя обижать, но прости, прости, капитан, меня все-таки тянет к своим иногда, ты не сердись, что я тебя разбудил?»

Я ни капельки не сердился. Лег обратно в похолодевшие простыни и вспомнил картинку из детской книжки: сенбернар откапывает из-под снега путника, на шее спасателя бочонок с вином, на спине скатка одеяла. И как я раньше не вспомнил этой картинки? И еще сразу вспомнился рассказ из детства о мальчике-художнике и его собаке; они развозят молоко – бидоны в двухколесной тележке, бедствуют, мальчик рисует картину на конкурс – старика, сидящего на бревне; если мальчик получит первое место, его и собаки судьба наладится и все будет прекрасно, но рисунок мальчика куда-то затеряли, голодный художник и голодная собака ночуют в пустом холодном соборе и замерзают перед чудесной церковной живописью, а утром выясняется, что они победили на конкурсе...

Кажется, это итальянско-английская писательница Уйда.

И мне показалось, что нынче мальчишкам не дают читать такие рассказы. И уж, конечно, не пишут их – мелодрама, сантименты, лобовитость, нет подтекста, толстовство, слюни... Но если я сорок лет помню рассказ о погибшем маленьком художнике и его собаке, а миллион случаев и событий собственной жизни забыл безвозвратно, то... что «то»?

Взяли пассажира до первого европейского порта. Шалапин, Петр Васильевич, был туристом в круизе на «Пушкине», сложный случай аппендицита, вспороли в морском госпитале Гамильтона, и он там застрял на восемнадцать суток. Ему, как Мобилу, запрещен самолет. Под пятьдесят. Производит впечатление властного человека. С места в карьер сделал внушение Виктории – она принесла графин с водой, а там много осадка.

Случайные пассажиры на грузовом океанском судне первое время робеют, чувствуют себя сухопутными крысами, окруженными морскими волками, а этот так прихватил нашу красавицу, что у меня сердце возрадовалось. Спросил у него профессию. Он:

– Философ.

– Как так? – вырвалось невольно. Почему-то удивляет такая профессия.

– Так в дипломе написано, – объяснил он. Я постарался скрыть аппендицитный приступ любопытства. Ведь отравленного гуманитарностью тянет к другому отравленному, как бразильского сенбернара к бермудскому дворняге. И особенно хочется поговорить со свежим человеком о литературе. Я тщательно отшлифовал на английском: «Какую последнюю книгу вы прочитали? Какой ваш любимый писатель? Каких из ваших современных писателей вы знаете?» И задаю эти вопросы лоцманам. Лоцманы выглядят интеллигентными господами (особенно в Европе). И каждый раз надеешься, что разговор состоится, но каждый раз проваливаешься в черную дыру. Пайлот вообще не может понять вопроса. О какой книге идет речь? Зачем ему читать книги? Как он может любить писателя – гомосек он, что ли? Журналы он читает – там есть кое-что интересное, но вообще он любит: фотографировать,

водить машину, смотреть телевизор, собирать карты гидрометеопрогнозов, марки, спичечные наклейки, фигурные бутылки – нужное подчеркнуть. Один-единственный раз мне попался лоцман – речной, в Темзе, – который читал Силлитоу, слышал о Мэрдок, покупал детям Диккенса, из русских знал (правда, по телепередачкам) Толстого, Достоевского, Чехова, любил Конрада и Мелвилла, ругал Кристи. В ту ночь на Темзе я впервые услышал, как произносят настоящие англичане эти знакомые по графическому изображению фамилии...

Пытаю пассажира-философа о современной литературе. Он называет Вадима Кожевникова («его вообще»), Чаковского («Блокада» очень понравилась), Айтматова («Белый пароход» – «талантливо, но нерегламентированная вещь») (?), Симонова («Не боится войны, чертяка-молодец!») (?), Юлиана Семенова («Европейского масштаба писатель – отлично информирован!»).

*05 ноября, п. Гамильтон, на якоре, в ожидании груза, на рейде Тюлин*

Около трех ночи по-местному. Не спится и не спалось.

С вечера долго кружил по палубе вокруг контейнеров, потом забрался в кабину экскаватора – везем три штуки на крышке второго номера.

Ночь безветренная, ясная, только в стороне океана горизонт растворяется во мгле. А портовые огни Гамильтона кажутся очень близкими.

Думал о сценарии – не моя стихия драматургия, а вляпался в нее потому только, что за шальными деньгами погнался. Хотел хватануть куш и завязать с морями навсегда. И вот целый год псу под хвост... Конечно, плавая дублером капитана, можно даже романы писать, но стажировать дублером больше одного рейса меня не станут даже в этом молодом, только-только создающемся пароходстве...

Красивая штука портовые огни ночью – они соблазняют, их страшно потерять навсегда. И отлично знаешь, что там – под ними – ровным счетом ничего хорошего, там геометрический металл и геометрический бетон, а все равно не хочется терять.

Недавно появились новые светильники – мощный, но скромный свет, цвет которого трудно определить. Оранжевый, во всяком случае, слишком неточно. Пожалуй, если вы посмотрите на горящую спичку сквозь лепестки осенних ноготков, то получится похоже. Очень красивы такие огни в черно-лиловом ночном небе. И еще красивее их отражения в лилово-черной ночной воде: пляшут цыганки – черные цыганки в лиловых платьях с оранжевыми блестками, цыганки изламываются, гнутся, извиваются, и плещется в бесшумном танце тьма их волос, огненными блестками вспыхивает шелк завихрившихся платьев. И портовые буксиры пробираются в гавань по рабочим делам со смущенным видом, как электромонтер к погасшей лампе сквозь танцевальный зал...

Неприятный шорох где-то на палубе. Долго прислушиваюсь, наконец вылезаю из кабины экскаватора, иду по левому борту и вижу большую птицу. Она молчаливо бьется в углу под фальшбортом. Очевидно, ударилась о снасти, летя на наши огни. Со страхом беру птицу в руки – она напропалую клюется и отбивается – и выдворяю на свободу. Птица мощным взмахом крыльев швыряет себя опять на ближайший палубный светильник. И падает спиной вниз к моим ногам, отчаянно бьется. Она с раздвоенным хвостом, похожа на ласточку, но раз в пять больше. Я опять беру ее в руки, понимаю, что одно крыло вывихнуто или сломано, несу в штурманскую рубку и сажаю в шкафчик с метеоприборами, зову доктора Леву. У него день рождения, он навеселе, бессмысленно и пугливо мнет ей поврежденное крыло. И мне ничего не остается, как взять дело и несчастную птицу в свои руки. Швыряю ее наверх и на ветер, но она по кривой скользит уже безвольным комком перьев вниз, в волны. Там в свете траповой люстры ходят четыре рыбы-иглы, одна здоровенная – метра полтора. Рыбы чуть светятся изумрудным, мерцающим светом. Два красных кальмара челноками носятся взад-вперед.

Иду в корму – там рыбачит Кудрявцев: вся корма утыкана его удищами. Настроение вконец испорчено нелепой птицей. Какая-то дурацкая символика с занавеса Художественного театра. Побаливает сердце и немеет левая рука. Мобил, конечно, возлежит недалеко от Саши. В шикарности этого пса есть театральное.

Каждая собака висит особым образом, если ее поднимешь за шкуру. Одна так растопырится и так дергается, что кажется, будто у нее сотня ног и десяток хвостов. Другая – умная и покорная – висит тихо и собранно, как траурный флаг. И кажется, у нее ног вообще нет – только один-единственный хвост.

Наш Мобил, конечно, слишком большой, чтобы его смог поднять за шкуру даже грузчик-негр из Балтимора, но если бы кто-нибудь поднять смог, то повис бы Мобил как парадный бархатный занавес в Большом театре.

Разговариваем о собачьей преданности. Кудрявцев вспоминает мальчишку-друга. Тот подорвался в лесу на старой mine. Все это случилось на глазах у собаки Пальмы. Две недели она не уходила с могилы хозяина, рыла землю и чуть не добралась до гроба. Ее наконец отогнали. Вернулась домой – кожа да кости – ничего не стала есть, только обнюхала все углы и исчезла навсегда.

Конец истории застает Юра. Капитану тоже не спится сегодня. Он курит трубку, и аромат «Амфоры» украшает и без того красивую южную ночь. Вспоминает отрочество и войну. Оказывается, был три месяца под оккупацией возле Тихвина – ехали в эвакуацию, а попали к фрицам. Его приятель Павлик работал в немецком пищеблоке, попутно, стало быть, отщипывал корки, тянул объедки, потом обнаглел и однажды куснул от круга колбасы, а одного переднего зуба у Павлика не было. По следу закуса его нашли. Собрали деревню и на глазах народа повесили, затянув петлю под нос и уши. Фрицы были не эсэсовцы, «тихие, армейские». Перед отступлением деревню спалили. Народ отогнали на зады, в бани, и не велели выходить. Когда дома загорелись, в них началась пальба, потому что в избах напрядано было бросовое оружие с патронами. У него, у Юры, стало быть, под полатями ручной пулемет с дисками хранился. Один старик приказ не выполнил, побежал свой дом тушить, его застрелили ли; побежала к убитому старуха – ее тоже прихлопнули, к старухе – дочь, ее тоже... Поджигатели были такие пьяные, что, когда ворвались наши, приняли их за своих и орали: «Хайль!» Было поджигателей-карателей четверо. Одного убил из пистолета наш лейтенант. Другого солдаты облили горючей смесью. Третьего старики сбросили с моста в реку. Четвертого затоптали женщины и дети, здесь, стало быть, и Юра принял участие.

Вот такие истории слушали бермудские цыганки-плясуньи этой ночью.

Потом появился Варгин – сменился с вахты и пришел, как хитрый лис, проведать у Саши насчет свежей рыбки.

С ходу включается в ночную травлю, и мы узнаем, что у неформального лидера есть бабуся, старенькая, суеверная и вообще с предрассудками: который год готовит себе при жизни все для похорон, даже на поминки купила уже водку и вино, прячет бутылки в сундуке. Варгин ее самый любимый внучек. Никому бабуся из поминальных алкогольных запасов не дает ни кап ли. Но Варгину на похмелку дает. И вот каждый раз, когда он приходит к бабусе кланчить сто грамм, то начинает с одного и того же:

– Билет купила, бабуся?

– Куда, внучок?

– В очередь на крематорий? Который раз спрашиваю!..

Хохот стоял. И я, подлец, засмеялся... – чего не сделаешь за компанию.

*06 ноября, порт Гамильтон, на якорю, в ожидании груза*

Шалапин закончил университет, тема диплома: «О сглаживании противоречий между городом и селом». Преподавал обществоведение в десятых классах, затем ассистент на кафедре философии Лесной академии, вел семинарские занятия, оклад 105, в отпусках подрабатывал бетонщиком на заводе, руководил общественно-политической жизнью студентов в общежитиях. Тема кандидатской: «О сглаживании противоречий между умственным и физическим трудом».

Последние годы – руководитель лаборатории социологических изысканий при НИИ лесной промышленности.

А я в последние годы вынашиваю кинокомедию о деятельности социальных психологов на флоте. Мои герои имеют благие намерения. Они ищут истоки психологической несовместимости. Но дело заканчивается тем, что подопытный экипаж, замороженный тестами, анкетами, «включенным наблюдением» и т. д., сажает пароход на камни.

И вот судьба предоставляет мне живого социолога с доставкой на дом – изучай не хочу! И где доставляет – на Бермудских островах!

В круиз на «Пушкине» Шалапин отправился после крупных неприятностей. Его раздолбали в «Литературке» в огромной – на два подвала – статье под названием «Будьте внимательны: человек!». Я эту статью не читал – мы уже были в рейсе. Но Шалапин с завидным бесстрашием принес ее мне и положил на стол:

– Читайте. Интересно услышать мнение практика. Меня здесь называют бестактным человеком и микро-агрессором... Сравнивают с пьяным, шофером – одинаково мы с пьяным шофером опасны для людей. Обвиняют в гуманитарном невежестве, в перенесении привычки к отношениям «человек-машина» на отношения «человек-человек».

– Так при вас и читать? – спросил я, несколько ошарашенный тем, что Петр Васильевич как бы заранее уверен в моем союзе с ним против автора статьи.

– Конечно! Ведь, вам тоже приходится сталкиваться с проблемой сокращения людей из экипажа по Щекинскому методу, а мы исследовали проблемы, возникающие с переходом на «Карповскую систему» в НИИ.

– Я ничего не понимаю в социологии, Петр Васильевич.

– В ней все и все должны погашать – все и все! – это не атомная физика!

В статье Шалапин: фигурирует под фамилией «Ивашов». Описывается конфликтная ситуация, возникшая в НИИ, когда Иванов-Шалапин усыпил бдительность сотрудников заверением, что социологическое обследование проводится для улучшения психического климата, а сам использовал откровенность, анкетированных для сбора компрометирующих данных. По его наущению директор НИИ в приказном порядке заставлял сотрудников заполнять анкеты, которые превращались во взаимодоносы.

Я прочитал статью и принялся чесать лоб, чтобы скрыть выражение лица от Иванова-Шаляпина.

– Меня называют Великим Инквизитором, – со вздохом признался Петр Васильевич. – Думаете, мне хочется им быть? Но проблема интенсификации научного труда требует этого!

Я посмотрел на нашего пассажира со смесью испуга, восторга, предвкушения неожиданностей, как смотрел бы палеонтолог на живого ящера, вымершего еще в третичном периоде, знакомого только по реконструкции, а теперь доступного в своем истинном естестве для обмера, сравнения, ощупывания. «Ну же тебе и везет, Витька!» – сказал я себе и бросился в пучину двуличия, то есть расплылся в смущенно-восхищенной улыбке. С такой улыбкой по моим представлениям должен смотреть наивный моряк на ученого, прославленного в газетах. Пускай слава ученого насколько негативна, но она все равно должна восхищать простоватого морского волка, погрязшего в буднях каргопланов, рейсовых заданий и экономии горюче-смазочных материалов.

– Слюнявая статья, – сказал я. – Небось этому автору никогда не приходилось решать вопрос, кого из экипажа сократить, а кого нет.

Шалапин надменно ухмыльнулся и сказал, отбивая ритм указательным пальцем по столу:

– Жизнь их научит! Эта статья – так называемый «террор среды». Обычное явление. Ничего: еще не вечер!

*07 ноября, п. Гамильтон, на якоре, погрузка с барж генгруза*

Весь день солнце злобно палило сквозь серую тропическую дымку, горизонт был серым, океан – тоже.

Потом был праздничный ужин. После ужина Кудрявцев поймал акулу. Акула здоровенная, вытащить в живом и здоровом виде невозможно – образина будет так дергаться, что крюк разогнется. Ко мне является гонец с просьбой уговорить Ямкина стрелнуть в акулу из малопульки. Уговариваю. Юра берет винтовку, и мы отправляемся на корму.

Там человек пять зрителей. Среди них наш философ и Великий Инквизитор.

Башку акулы чуть вытаскивают из воды с помощью кормовой лебедки. Юра перевешивается через релинги головой вниз с малопулькой в руках. Капитанский зад деликатно придерживает Кудрявцев. Ямкин пуляет акуле между глаз – раз! два! три! – акуле как с гуся вода. Только после шестого попадания зверюга обвисает – шок. Вира, лебедка! Акулу подтаскивают к релингам и баграми переваливают на кормовую палубу. Акула оживает и начинает страшный танец смерти на раскаленной стали. По ней лупят ломami, пожарными баграми, набрасывают грузовую сетку, опутывают тросами. Зверь затихает.

– Петр Васильевич, – предлагаю я. – Хотите жуткий сувенир? Видели когда-нибудь акулы челюсти? Повесите их в кабинете, будете пугать слаонервных ученых коллег. Только вырубать челюсти будете сами. Кудрявцев, согласен?

Кудрявцев согласен, Шалапин – тоже. Боцман уходит за острым плотничьим топором. Я говорю, что вообще-то страх перед акулами сильно преувеличен, ученые считают, что за всю историю было всего несколько научно-бесспорных нападений акул на человека. Правда, говорит Кудрявцев, почему-то в брюхе акул он, Кудрявцев, дважды уже находил сапоги и ботинки, интересно, откуда там человеческая обувь и где ее владельцы?

Боцман Гри-Гри принес топор, сказал Шалапину, что вырубить челюсти акулы дело непростое – акула штука жесткая.

– А мы охотники, мы привычные, – сказал Шалапин, прилаживая ладонь на топорнице, обласкивая отполированное дерево.

– А швы не разойдутся? – вдруг встревожился я. – Ведь вы после операции! Может, погодить с физическими нагрузками? – я вдруг понял, какое горе может принести физиологу его подопытная обезьяна, если она вдруг заболевает или – совсем уж не дай бог! –дохнет. И одновременно я почувствовал, какую-то обезьянью заботливость к Шалапину, такую заботливость, которая вызывает желание перебирать шерсть облюбованной особи и вылавливать у нее блох. Правда, Петр Васильевич лыс.

– А мы полегонечку, полегонечку, не все еще наши песни пропеты, – уже сам себе, уже погружаясь в дело, в анатомию акулы, пробормотал Шалапин. – Мы еще и на медведяходим, мы и медведя освежевать за часик сможем, а вы-то когда охотились?

– Нет, – сказал я, почесывая Мобила за ушами. – Я никогда не охотился.

Мне не нравится волокущаяся, тупая походка матерых охотников, их сине-красные, здоровые лица, их ружья в чехлах. Хотя само оружие мне нравится, мне приятно держать в руках оружие, например, пистолет, ощущать его тяжесть и потенциальную мощь. И я люблю стрелять в тире. И сильно расстраиваюсь, когда мажу. Но охотники мне не нравятся,

– Живая еще, – сказал Кудрявцев. – Вы осторожнее, товарищ профессор, – она вас кровью забрызгает. Когда вы ее ткнете, она опять метаться начнет.

Вечереющая тишина возгонялась из океана. Солнце падало на горизонт почти отвесно. В воздухе пробуждалось движение – едва заметное, расплывчатое, но приятно-прохладное. Две огромные стрекозы, залетевшие с бермудского побережья, трепетали над фиолетовым трупом акулы, стрекозы были ярко-зеленые, с длинными прозрачными хвостами.

Зрителей собралось уже человек семь. Все мы уселись на теплую корабельную сталь в приличном расстоянии от акулы. Мобил положил тяжелую голову мне на колени, но не сводил глаз с Шалапина, с топора.

Шалапин ловко ударил зверюгу в район мозжечка и успел еще раз попасть в первоначальную рану, вероятно, перерубив хребтовый хрящ, но потом дело пошло хуже – акула металась во всех плоскостях и измерениях; опутывающие ее троса ослабли и соскользнули с окровавленной шкуры. Шалапин отхватил акуле хвост, потом плавники, хладнокровно уклоняясь от обезображенного тела, но четкой и красивой казни, если, конечно казнь таковой может быть, не получилось; казнь превратилась в побоище. Никто из нас другого и не ожидал – это нормальное дело, когда свяжешься с таким живучим существом, как акула. Только даже привычным людям не очень приятно глядеть. Обычно зрители отвлекают себя от неэстетических переживаний, участвуя языками в убийстве, то есть сыпят советами и прыгают вокруг, непроизвольно имитируя самые правильные, сокрушительные, смертельные удары. Но в данном случае, главным действующим лицом был новый на судне человек, гость, пассажир, и подсказывать ему морячки стеснялись или не хотели. Они хранили скептический нейтралитет, доставляя мне этим большое удовольствие. Мне интересно было наблюдать Великого Инквизитора в положении отчужденного от толпы палача. Акуля кровь и сукровица мешались на его лице с потом, запас физических сил он явно переоценил, но азарта ему не занимать было. И настойчивости. И полнейшего равнодушия к зрителям. Он отрубил наконец напрочь акулю башку и кинул в сторону топор.

– Ладно вам, – сказал Кудрявцев. – Челюсти я вырублю. Идите в кормовой душ – там пресная вода есть.

– Нет, – сказал Шалапин, присаживаясь возле меня на корточки, чтобы передохнуть, чтобы пережить усталое удовлетворение бывалого свежевальщика. – Сам вырублю. А то и сувенир не тот сувенир будет – чужими руками-то, спасибо за предложение, но только я сам dokonчу дело. Тесак острый есть?

Боцман подал ему тесак.

Солнце скрылось в океане. Сумерки судорожно задергивали западную часть горизонта сиреневыми занавесками, в складках занавесей вспыхнула первая звезда. Вахтенный штурман включил палубное освещение и якорные огни. Мобил поднялся и пошел в надстройку, даже не покосившись в сторону четвертованной акулы. Обрубок еще изредка дергался, но обе длиннохвостые стрекозы опустили на него и сложили крылышки: трепетную красоту труп притягивал – единство противоположностей.

В моей кинокомедии руководитель социологических экспериментов падал в обморок, увидев дохлую морскую свинку. Здорово я дал маху в сторону от жизни!

– Отлично у вас получается, – сказал я философу. Он попросил сигаретку. Я вставил ее ему в рот, ибо руки философа были в крови. А чиркнуть зажигалкой не успел – опередил боцман. И по этому штриху можно предположить, что Петр Васильевич уже завоевал у Гри-Гри и матросов какой-то начальный авторитет.

– Вы думали, все философы – белоручки? – спросил Шалапин. – А я из крепостных графов Бобринских род веду. Бабка, правда по непроверенным сведениям, графской внебрачной дочерью была, – добавил он не без кичливости.

– В вашей внешности заметна аристократичность, – сказал я. (Он на королевскую кобру похож.)

– Гены! – объяснил Шаляпин и принялся дальше кромсать акулю голову.

*09 ноября, на переходе Гамильтон – Бишоп Рок, Северная Атлантика*

Виктория – Юре: «А что, профессор мужчина в соку, у них даже нос краснеет, так они по женскому полу сучали, хи-хи-хи!»

*10 ноября, Гамильтон – Бишоп Рок*

У самого рыжего человека на свете – нашего судового врача Левы есть американские тюльпаны из пластмассы в поддельном горшке с пластмассовой землей. Шаляпин – Леве: «Не обращайте внимания на подкусывания ваших товарищей. Это прекрасное украшение интерьера – оно рационально и требовало от своего создателя определенного художественного мастерства. Держать искусственный цветок у себя дома никакое не мещанство. Наоборот. Его легко мыть от пыли, а эстетическое впечатление для глаза даже сильнее». Специально ходил и ходит в пивные, шашлычные, то есть в места, где люди, подвыпив, ведут себя шумно, распахиваются, хвастаются, плачут – тренировался в угадывании характеров, профессий, наклонностей, семейного положения. Быстро сходиться с людьми он не умел и не умеет, сам понял, что вообще к себе людей не располагает, знакомства давались трудно, требовали напряжения и сильно утомляли. Вот он и развивал наблюдательность со стороны. Мне: «У вас интересная микрогруппа – вы, собака и матрос. Вы, вероятно, уже третье поколение интеллигентов». – «Почему так решили?» – «Собак по-человечески любите».

И действительно, я ни одной собаки не научил ходить у ноги или сидеть по приказу. И, вероятно, не научу. Я – прав Шалапин – люблю собак именно по-интеллигентски, то есть бестолково, бесцельно – как любят людей. Такая любовь чаще губит, нежели облегчает собачью жизнь, потому что собака не человек. Но я-то люблю в ней как раз то, что в ней человеческое – вернее, идеально-человеческое – иррациональную преданность, ласковое тепло мохнатой души, способность почувствовать и понять самые тонкие изменения твоего настроения, оттенки твоей грусти или радости.

*11 ноября, Северная Атлантика*

Давеча предупредил Шаляпина, что он по ночам разговаривает и я это слышу, так как мы соседи по каютам, а переборки тонкие. Он разговаривает с дочерью. У нее недавно была операция на горле, и два месяца она должна была совершенно молчать, объяснялась записками. Дочь хотела в певицы и перетрудила связки. Теперь она уже снова поет, но профессионалом стать не сможет, и он этому радуется, и не скрывая радость от дочери, и они поссорились. Вероятно, девушке с искрой художественного в душе тяжело жить с Великим Инквизитором.

Мне же не следует забывать, что философ только что перенес операцию (прошла не совсем гладко), болел в чужом мире и первый раз вообще был за границей, одиночество в госпитале, чужой язык, замкнутость на себя (а больным нужно иметь возможность поплакаться). Далее. Он очень рассчитывал на самолет до дому, а теперь ползет на грузовом судне. Впереди неизвестность, так как после зубодробительной статьи все подопытные кролики в его НИИ будут сводить с ним счеты. И вот при всем этом он ни разу не закис. Наоборот, атакует!

*12 ноября, Гамильтон – Бишоп Рок*

Что такое «пластика», я до сих пор не знаю точно. Только скульпторы, вероятно, знают. Скульпторы говорят, что пластика – это когда поверхность отражает глубины в каждом движении и в каждом изгибе. Пластика – это когда самая легкая из легких улыбок тронет женские губы, едва заметная улыбочная рябь пробежит по зрачку, а под улыбочным светом – вся сложность и глубина человеческой души. От каждой морщинки на поверхности моря уходит в мокрую тьму сложнейшая сложность волновых гармоник.

Океан нынче притворялся весенней скромной лужей на тихом бульваре. Под нежной гладью колдун не смог бы угадать пяти километров зыбкой глубины и стылой тьмы морга на дне.

Теплая гладкость, радостно готовая к отражению небес и всего мироздания. Местами мельчайшая рябь, приметная потому, что соседствует с разливами абсолютного покоя.

В океане отражалась каждая морщинка, завитушка и полутень облаков.

И грубое движение корабля сквозь нежность, шипение отброшенной волны, вращение тяжелого винта казались кошунством. И суеверно смущало душу опасение отмщения со стороны потревоженного океана, который так добродушно и беззащитно притворяется слабенькой лужей на тихом весеннем бульваре.

Так было весь день. И вечеряющее небо тоже было тихо и просветленно, как лицо молодой девушки, заглянувшей в колыбель новорожденной сестрички.

Потом пришла зыбь, ленивая и усталая.

Говорят, что слон медлительное животное, пока ему не надо догнать курьерский поезд. Так вот, океанская волна тоже медлительное животное, но она обгоняет ветер, если захочет тряхнуть тебя посередине Атлантики.

Идем по дуге большого круга, поднимаясь к зоне циклонов. Самый хороший вариант – пересекать Северную Атлантику позади циклона. Это так же выгодно, как пробираться через толпу за пьяным дебоширом – он впереди машет руками и изгаляется, а за спиной у него относительное спокойствие и относительная свобода.

Полнолуние. Сизигия: Солнце, Луна, Земля находятся на одной прямой. Притяжения Солнца и Луны складываются, по мировому океану идет самая большая приливная волна. Тяжелое время для лунатиков. Быть может, лунатизм можно объяснить приливо-отливными явлениями в нашем теле? Ведь человек на девять десятых состоит из жидкости. Каждая частица этой человеческой жидкости притягивается и Солнцем и Луной. Приливо-отливные явления с наибольшей силой должны проявляться в нас, когда мы не крутимся и не вертимся, то есть спим. Медики не моряки, им не преподают теорию приливов в медицинских вузах. А кто на берегу заметит сизигию или квадратуру? Разве, глядя на дневное небо, кто-нибудь думает о том, что и лучи мириад звезд в этот миг выбивают электроны из наших зрительных нервов? Ведь всем нам только кажется, что на дневном небе нет звезд, а они есть, они светят, их звездные кванты падают в ваш глаз вместе с солнечным светом...

– Бог мой, какая луна отвратительная! – рычит Юра. – Врачиха-невропатолог мне последний раз попалась, стало быть, сама на луну похожая – круглая, а внутри казенная мертвечина. У вас лунатизм второй категории, говорит, две ночи в полнолуние принимайте элениум. А если мне на мостике толкаться надо?..

Мне хорошо была видна луна за его плечом. Она поднималась из черного океана в черное небо и была такая огромная, что сперва даже не вписывалась целиком в каютное окно.

Луну я уже сравнивал со всем, что только есть в человеческом обиходе, – от медного таза до ракетного дюза и от мяча в бейсбол до лимона. Потому скажу только, что луна вчера была суперогромная и сатанинская. Одноглазый сатана вылупился на мир божий мертвым сверкающим оком. Золотые холодные слезы стекали из сатанинского ока на спины океанской зыби. И зыбь ежилась под холодной тяжестью сатанинских слез. А как только между луной и горизонтом образовалась щель, так в эту черную щель юркой рыбкой скользнуло узкое ночное облачко – точь-в-точь ядовитая мурина. И казалось, что облачко тянется к луне, как рыбы к забортному

огню, и извивается в мертвом свете с ядовитым, муреным удовольствием. Такая картинка даже не на лунатика производит тягостно-сильное впечатление. А мой ведущий просто места себе не мог найти. Его, беднягу, всего корежило. И повело на исповедь.

Я и раньше знал, что в полнолуние у него случается тяжелое состояние, но в этот раз все обострилось.

– Стало быть, Витя, снилась мне ныне обычная пакость, это уже и не снится, а как бы мнится. Что собственные мои руки вдруг удлиниться начинают, расти и пальцы растут, растопыриваются, огромными, стало быть, делаются, толстыми, тяжелыми... И там – в конце пальцев, в промежутках – лица мнятся с хоботами вместо носов... Вот, братец ты мой, какая пакость, а? Но это еще ничего! Самое неприятное, что я подлости во сне совершаю, трушу или подличаю. Один раз деньги у пьяного украл и убежал, а его на снегу бросил... Другой раз под столом в ресторане от драки прятался – вот те крест правду говорю! А во сне трусить и подличать еще хуже, чем в жизни, и почему так?

Я сказал, что сам об этом думал. Вероятно, трусить и подличать во сне омерзительнее потому, что потом уже ничего и никак и никакими силами поправить невозможно. В жизни можно хоть на могилку убитого приезжать и слезы лить, а во сне и того лишен, там уже в полном смысле махать кулаками после драки невозможно даже. И потому осадок остается сверхомерзительный.

– Умный у меня дублер, – сказал Ямкин, – но трусоват в жизни. Стало быть, уже второй месяц мне хочет пакость сказать, ан мужества не хватает. Говори, друг-товарищ, говори – сегодня самый момент, стало быть, подходящий наступил, сегодня меня можно голыми руками брать.

Я не думал, что момент подходящий, но видел, что говорить надо. Юра заждался этого разговора не меньше, нежели я. И я сказал, что говорить буду, но весь разговор буду вести с капитаном судна, а не с мужем вдовы моего юношеского товарища и моим приятелем.

– Стало быть, ты меня здесь все-таки капитаном еще считаешь, – заметил Ямкин и плотнул кофе из носика.

– Ты сам знаешь, что и в тебя и в меня флотскую дисциплину вбили навсегда, – сказал я. – И не нам вид делать, что мы ее в себе способны преодолеть начисто.

Он кивнул. Тем он мне и дорог, что умеет правду видеть и признавать и даже какое-то мазохистское удовольствие от неприятности правды получать. И я ему сказал, что сила капитана в том, что не все подчиненные про капитана знают и знать должны, что в капитане должна всегда оставаться частица тайны. Как умная жена умеет сохранить в себе частицу тайны для мужа до самой глубокой старости, так и капитан должен свою какую-то тайну хранить ото всех. А он, спутавшись с Викторией, потеряв стыд, обнаглев в своей вызывающей связи, утратил перед лицом экипажа всякую таинственность, и что все это плохо – для экипажа, для службы, для рейса, который еще длинен и сложен.

Он все проглатывал покорно и спокойно, а потом сказал:

– Так ведь тебя не так экипаж волнует – доплывем мы в порядке, и ты это не хуже меня знаешь, – как ты тем волнуешься, что я, стало быть, не просто так с Викторией, а как-то привык к ней, привязался. Вот что тебя, стало быть, волнует. Если б я с ней тайком десятков раз переспал, так ты и говорить ничего небось не стал, а?

Я опешил. Чтобы мужчина признался в привязанности к такому созданию! Нашему брату сказать вслух «привязался» в конце двадцатого века не о матери или детях, а о сменной буфетчице так же трудно, как японцу обозвать Фудзияму дрянной горюшкой. Правда, Ямкин при всей своей суровости умеет произносить беззащитные слова. Когда мы поздней весной уходили с Балтики, то скользили сквозь сплошной штиль; голубая нежность, казалось, проникала сквозь сталь в каюты, в голубой нежности таяли островки, голубыми были встречные кораблики и даже красный флаг на мачте истекал голубизной. И на подходах к Бельтам, кажется

в Кадет-Рейне, ранним голубым вечером перед судном пролетели семь голубых лебедей. Они летели мощно, строем строгого кильватера, сократив дистанцию между собой до одного линейного, все семь лебедей были магнитной стрелкой, нацеленной на норд, – голубая стрела пронзила голубизну, оставив во мне такую свежую радость, что почувдился даже вкус мяты во рту. А Юра сказал, что у лебедей большое горе, что их семь – значит, подруга одного из лебедей погибла, что они летают всегда четным количеством, парами. И когда теперь прилетят на место, то один из лебедей, который остался без подруги, обязательно тоже погибнет. Мне не хотелось этому верить, и я сказал, что на пары они разбиваются после прилета, что никто не погибал и все у них в порядке. Нет, сказал Юра, они летят уже женихами и невестами. И у них один закон – верность на жизнь и смерть, и такой закон невозможно объяснить только инстинктом, здесь нечто другое, высшее. Потом лег туман и всю ночь в Бельтах мы шли в нем. Туман при абсолютном штиле, такой густой, что не видно было полубака и не видно воды под бортом, если глянешь с крыла мостика; туманные гудки терзали уши, от них нельзя было спрятаться даже в герметичности персонального гальюна; у штурманов на переносицах появились красные пятна от радарных намордников, боцман перестоял у якорей, а туман все густел; собственное судно казалось пузырьком воздуха, застывшим в толще сиреневого стекла. У банки Шульцгруни какой-то ошалелый пароходик забрался на нашу сторону фарватера, мы расходились с ним, чертыхаясь и обзывая его «Шульцем»; острили, что всюду – куда ни сунешься – найдется какой-нибудь шульц. И вдруг Юра сказал, так сказал, будто между нами и лебедями уже не пролегла целая ночь, будто они только что пронзили голубой мощной стрелой нежную голубизну весенней Балтики: «У лебедей один закон – верность!» И ясно стало, что для него нет выше слова, чем слово «верность», в этом слове для него вся красота и сила мира.

– Если бы ты с ней тайком десяток раз переспал, то я действительно, вероятно, не стал бы говорить, – согласился я.

– «Действительно», «вероятно»! Ну, а что ты о Виктории вообще можешь сказать? Какой она человек?

– Если ты к ней привязался, то у мужчин один закон есть – молчать в тряпочку.

– Правильно. Тогда, стало быть, я тебе скажу, что она за человек. Дрянь она, дрянь. Мелкая личность. И все это я, будь уверен, вижу и знаю. И все равно – тянет. Забываюсь с ней. Знаю: блуд! но такой, против которого не могу и не хочу устоять. Никогда не думал, что в народном «седина в голову – бес в ребро» такая сила. Каждый день с нею сплю – и все меня хватает! Такого влечения и в молодости в себе не чуял. Знаю – плохо все кончится, но ты больше с этим вопросом не лезь! Стало быть, не твоего ума дело, брось в верного друга погибшего играть, брось на меня Степой и Галиной давить. Степан для тебя давно – тень, вымученная юношеская тень... и Галину ты пятнадцать лет в глаза не видел, а она... Знаешь, что она? Постарела она совсем. Бабушка, стало быть. А мне что делать?

Здесь, к моему облегчению, вахтенный помощник объявил по трансляции, что через пять минут начинается кино «Малахов курган».

– Пошли, – сказал Юра. – А после фильма закачу бал. У стармеха накроют. В честь внука, стало быть, Луну перехитрим – песнями перепоем.

Частые «стало быть» в речи Юры от адмирала Беркута. Я нынче вспомнил, что Беркут, произнося вступительную лекцию на сборах офицеров запаса, часто повторял это «стало быть», а Юра тогда еще сильно злоупотреблял терминологией подводника. Он буркал «Продуй носовую!» в адрес всех заснувших на лекциях.

Мы посмотрели «Малахов курган».

Вообще-то я редко хожу в кино на судах. Если кино плохое, то его просто нет смысла смотреть. Если хорошее, то в самые неподходящие моменты услышишь такие сальности, глупости и грубости от морячков, что любая красота исчезает с экрана. Красоту инстинктивно хочется принизить, чтобы не чувствовать зависимости от чего-то неуловимого и недоступного.

Но на «Малахов курган» я пошел, потому что этот фильм сыграл в моей жизни серьезную роль. Посмотрев его в шестнадцать лет, я решился идти на военный флот – юнгой, или воспитанником, или кем угодно, но в военный флот! Я хотел быть с теми матросами, которые докуривают одну на всех махорочную закрутку перед тем, как броситься под танки со связкой РГД на поясах.

Прошло двадцать семь лет, «Малахов курган» и я постарели, но матросы, которые бросаются под танки, остались молодыми.

После фильма мы с Юрой выпили по рюмке виски у него в каюте, ожидая, когда дамы – Виктория и Марина – накроют на стол в каюте стармеха. Вспоминали сорок пятый год.

– Последнее письмо от бати было из-под Берлина от пятого мая. Ясное дело, мы считали, что эти четыре дня его сохранил или бог, или черт, или комбат... А, стало быть, девятого – в День Победы он погиб. И вот, знаешь, я один дома был – только пришел с ночной смены, утро, мать уже на работе... Прочитал похоронку – помню только, что слова очень путались – никак понять слов не мог – простые слова-то, а сложить их вместе не могу – и – не поверишь! – заснул! – прямо сел к столу, как говорится, опустился на стул, – и вырубился. Такое дурацкое устройство организма – черт-те что! – закемарил, задрых, стало быть, в полном смысле. А мать вернулась, до работы не доехала: стало быть, повело ее что-то обратно. Пришла и видит: я сплю, а в руках похоронка... Проснулся, как она грохнулась – от грохота проснулся, вижу: мать на полу и похоронка в руках, а я – спал! Откачал мать... Ну, и в тот же день пошел в военкомат, там смеются – что ж ты собрался, когда война кончилась? – Не ваше собачье дело, мол! Ну, объяснил, стало быть. Забрили. А накануне «Малахов курган» смотрел, плакал потихоньку в темноте-то, как они сигарку докуривали перед героической смертью... И ты небось плакал тогда, если сегодня носом хлюпал в столовой – я, брат, за тобой специально следил – все мы одним – тем – миром мазаны... На флот, ясное дело, попросился – чтобы с севастьяпольскими матросами под танк бросаться. А в экипаже разобрались, что десятилетка почти закончена – и в Высшее военно-морское в Баку почему-то запузарили... Ха, быть может, не засни я тогда над похоронкой, и все по-другому сложилось. Но такой стыд и ужас жгли – ведь даже матери – своей матери! – и то не объяснишь! – заснул, когда о смерти отца своего – отца! – узнал, а? И не с усталости заснул – нервное что-то, да тогда психоанализами не занимались... Отпустили домой на полчаса – с матерью попрощаться. И больше не видел ее. Не смогла отца пережить – угасла, как говорят, без болезней, без страданий – угасла – и все...

– ...Глупенький, – сказала мать, когда он пришел проститься перед Баку, уже в белой робе, широком бушлате и в бескозырке без ленточки. – Куда ты, зачем теперь-то, мой глупенький!.. Ладно, ладно, не буду. Сестру не забывай, Риту нашу. Да, о чем я? Да, ты запомни, что всему слишком легко веришь и легко простужаешься, хотя отец и дал тебе широкую кость, так вот, ты всегда будь там, где будет хуже всего. Я знаю по Ивану – выживают дольше всех те, кто сам идет в самое страшное. Это очень трудно: говорить мне, матери-то, что я сейчас говорю тебе, но я знаю, что это так. Честное слово, сын! Если б я не так любила тебя и в тебе твоего отца, я бы не стала советовать тебе такое. Но я знаю, что говорю. Иди сам в самое трудное, и тогда тебе повезет, и господь будет с тобой...

– Не надо про господя, мать! – сказал он тогда.

– Да, да, не сердись за эти слова, Юра. Я знаю, они старые, но я к ним привыкла, понимаешь? И всегда нужно знать, что тебя никто не поминает лихом, если вдруг тебе станет плохо, совсем плохо, ты понимаешь, о чем я говорю, сынок? Я похороню Риту, а ты потом не забывай ее. Я-то долго не протяну, Юрочка...

– Где у нас лыжный свитер, мама? – спросил он.

– А не надо. Не бери его. Чем меньше возьмешь с собой, тем легче тебе будет. Всегда что-нибудь найдется, когда станет холодно. Еще ведь лето пока. А отец никогда не брал с собой свитер, если было лето и он уходил далеко. И ты не бери никогда никуда ничего лишнего...

– Жуткое дело, как она, матушка, похожа была на ту, что с поднятой рукой, на плакатах «Родина-мать зовет!»... Здорово художник ухватил. Только у моей выражение чуть добрее было, но, правда, я ее в остервенении никогда не зрил, она даже зажигалки без остервенения тушила – тихо она их песочком присыпала... И сейчас увидишь в кино или на картине тот плакат – и каждый раз внутри дрогнешь, стало быть, – она смотрит... А дальше, ведомый ты мой, полная чепуха пойдет! – вдруг засмеялся Юра и взял гитару, начал пощипывать струны: «Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет, не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи...»

Года два назад встретил однополчанина батькина. Знаешь, как он геройски погиб? Девятого мая? Всю войну прошел без царапины – от Ленинграда до Берлина, а девятого мая сел на скамейку, обыкновенная деревянная скамейка в палисаднике каком-то берлинском, он на самый конец сел, другой поднялся, он со скамейки упал, солдатики-братики хохочут вокруг; «Вставай, Ваня, как это ты уже надрасться успел?» – а он и не встает – ударился затылком о каменную стенку, и все! Вот она какая у бати смерть была – домашняя, стало быть, ему смерть уготована была... Однокашник последние его слова привел: «Вон, – батя сказал. – Старшина катит, сейчас вино выдавать к Победе станут, пойду посижу – фамилия-то моя на последнюю букву начинается, когда еще очередь дойдет...» Вот и присел Ваня Ямкин!.. Глупости-то сколько, глупости-то на свете, а? Действительно, замечательную песню Окуджава сочинил: «Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет...»

Когда Юра поет любимую, сразу ощущаешь огромность ночного океана вокруг и нашу дальнюю, дальнюю дорогу.

– Ах, эти у меня морщинки, такие морщинки-морщинки! Это потому, что я всю жизнь смеюсь... А какая жизнь без смеху? Вот посмотрите, если морщинки убрать, видите какая я сразу молоденькая? Ну прямо девчущечка... хи-хи-ха-ха...

Представьте себя в театре, а на сцене представьте актрису, которой надо по роли смеяться, и вот она все три акта смеется, но только смеяться она не умеет. Теперь представьте, как после трех часов такого спектакля вы идете домой и шумно плюетесь, шипите на супругу и зачем-то пихаете калошей мирную кошку. А теперь представьте, что спектакль длится четыре месяца и улизнуть во время антракта невозможно.

Черт побери, как она шуршала серебряными колготками! Она умудрялась крутить и вертеть коленками и под столом и у себя над головой одновременно. Такое разнообразие коленец способна выкинуть разве еще только ящерица, если ей прищемить хвост. А хвост самой Виктории прищемляло много разных щипцов и щипчиков. И мое отвращение к ее прелестям, которого она, будучи женщиной, все-таки не могла не ощущать, хотя я и скрывал его с мужеством спартанского мальчика. И страх перед моим влиянием на Юру, перед коррозирующим влиянием на его влюбленность. И – главное – древняя, темная, злобная ревность к недоступной красоте и настроению, скрытым в хорошей песне, если ее поют как воспоминание о смелой и более-менее честной мужской судьбе, о былой любви и верном товариществе.

Любопытно мне было наблюдать, как ненависть и страх даже перед далекой тенью какой-то красоты сублимировались в желание расправиться с гитарой.

– Ха-ха-ха... – давилась Виктория, вырывая гитару из рук Юры, царапая скользкую гитарную шкуру, прижимая струны и задирая ноги на диван так, что гормоны ударили Юре в башку и вышвырнули из памяти осколки благородных воспоминаний, и желание отстраненной красоты, и ощущение открытого моря.

– Ха-ха-ха... А почему они мне инструмент не хотят отдать! Ха-ха-ха... А я тоже играть хочу... А я буду то петь, что все знают, а то они поют все военное да старомодное, что мы девушки и не хотим петь, ха-ха-ха...

И вместо того, чтобы дать ей по рукам или просто-напросто один раз нахмурить брови, Юра отпускал гитару и провалился в мутный омут – чуть не сказал «любовный», в мутный омут половой игры, в блеск и шорох серебряных колготок. И это – сразу с высот настроения, с высот углубленности в мелодию, с высот тихой полуулыбки грустных воспоминаний; от тающих в тумане скалистых гор Рыбачьего, от ветки рябины на рассвете, вздрагивающей за открытым окном молодости, от березового веселого говорка золотой рощи, от памяти погибших до срока, от грозного гула турбин «Гремящего», от братского объятия русского и британского дымков над мимолетно заштилевшим Баренцевым морем... Если бы хоть не было бы этих сверхглубоких перепадов, контрастов, взлетов и падений, если бы был один постоянный монотонный фон пошлости, то я мог бы амортизироваться к нему – ведь привыкаем же мы даже к грохоту трамвая под окнами или к дурному запаху – так счастливо нас устроил бог. Но когда пошлость не просто сосуществовала, а все время боролась с чем-то благородным и все время побеждала его – и опять, и опять, и опять побеждала, – то это было очень тяжело.

– И чего вы все думаете и думаете, ха-ха-ха? – захлебывалась Виктория и кидала в меня конфетой. – А почему вы не пьете, ха-ха-ха... Смотрите, какие мы уже пьяные? А сами кофе пьют, ха-ха-ха... Мариночка, тебе надо выйти? Пойдем на минуточку, ха-ха-ха...

И они уходили в гальюн – обязательно вдвоем, ибо так им казалось удобнее и приличнее. И в замкнутом мирке просторной каюты наступала пауза и тишина. И мы скрещивали взгляды на медлительно скользящей взад-вперед по дифферентому полоске ртути или подкрашенного спирта. Дифферентом – длинная, чуть изогнутая стеклянная трубка – на «Фоминске» почему-то закреплен в поперечной переборке каюты механика.

– Может, выгнать эту Маринку-то? – спрашивал стармех меня. Он чувствовал мою тошноту. Юра, вероятно, тоже чувствовал, но не давал этого понять, тянулся к гитаре, трогал струны, прятал лицо в глубоком наклоне, начинал петь – знал, что сразу покупает меня вместе с потрохами.

И наступало три минуты молчания.

Девушка с золотыми волосами – никогда я больше не встречал таких золотых и буйных волос, девушка с удивительной бесстыдностью – никогда я больше не встречал такого красивого бесстыдства, девушка каприза и надменности – никогда я с таким удовольствием не потакал ничьим капризам и надменностям, первая женщина, которая понесла в себе моего ребенка, моего единственного сына, скрестившего свою судьбу с вязальной спицей в самом начале пути (тогда аборт были запрещены), – вот эта девушка приходила на три минуты в каюту старшего механика теплохода «Фоминск» в центре Атлантического океана.

Обыкновенная, вероятно, была девица, но какое обаяние просыпающегося дня, какое бесстрашие пред Богом и сатаной, пред ночью и ураганом, пред коммунальной квартирой и мамой, пред разлуками и смертью! Да, она так и написала мне на Север: «У тебя был сын. Мне не жалко, а тебе? Я выхожу замуж за Степу. В воскресенье вечером будем звонить тебе, постарайся добраться в Мурманск на переговорный пункт. Галя».

Ничто так не погружает в прошлое, как музыка, которую слушал когда-то вместе с первой девушкой, никакой Римский-Корсаков не встряхнет так, как какие-нибудь: «Эх вы, ночи, матросские ночи – только море да небо вокруг...» Господи, прости нам низкую музыкальную культуру! Ведь ты никогда не спал в кубрике, где спят в два этажа еще двести шестнадцатилетних, и ты не маршировал в баню в три часа ночи сквозь спящий город. Господи, ты накормил ораву пятью хлебами, но смог бы ты разделить кусок хозяйственного мыла на роту при помощи одной суровой нитки? Господи, смог бы ты прикурить махорочную закрутку, наслюнявив ее конец и замыкая через слюни трехфазовый переменный ток? Господи, хлеб и вино –

тело и кровь твое, но тебе ведь и в голову не могло прийти, что вместо хлеба можно питаться лепешками из кофейной гущи и вымоченной горчицы. Господи, я не знаю, сколько часов умирал ты на кресте под безжалостным солнцем в облаке зеленых мух, но если ты думаешь, что умирать от голода и вшей в промерзшем тряпье, валяясь рядом с трупом любимой тети, веселее, то прости, но я не смогу согласиться с тобой. Господи, я не кощунствую! Раны от гвоздей гноились и воняли, и смрадно дышали рядом с тобой распятые разбойники, но знаешь ли ты, что такое, когда газы исходят у тебя изо рта, потому что столярный клей застрял в кишках? Господи, ты исцелял прокаженных, хотя и терпеть не мог демонстрировать свои чудодейственные возможности; но сердце твое не выдерживало зрелища чужих мучений и ты облегчал свое сердце, исцелив больных и наладив быт заблудших, но приходилось ли тебе видеть старуху, выкинутую на снег из теплушки, ибо она ходила под себя и от нее несло такой вонью и заразой, что сотня других бедолаг вышвырнула ее под насыпь... Простите уж моему поколению низкую музыкальную культуру и грамматические ошибки, все наши критики!

...Эх вы, ночи, матросские ночи – только море да небо вокруг...

Спасибо, что нам досталось хоть это! Ведь высшее чудо как раз в том и заключается, что мы способны чувствовать хоть в чем-то красоту, что мы способны тосковать о ней и оплакивать лебедя, потерявшего над океаном подругу.

Той зимой и под Новый год в Ленинграде стояла жидкая погода, лужи дрожали на набережных от гнилого ветра, на кустах в скверах начали набухать глупые, слепые почки; речки и каналы не становились, лед под гранитом чернел старческими зубами, грузовики брызгались рыжей жирненькой грязью, а в ленинградских квартирах в такую погоду еще холоднее, нежели в морозы, и надо было все время топить печки, а дров, ясное дело, было в обрез. И еще той зимой и у золотокудрой Галя, и у меня дома поставили на капитальный ремонт, а жильцов выселили в маневренный фонд, и вся жизнь состояла из мучительных переездов, известковой грязи на лестницах, торговли с биндюжниками, хождения по жилконторам за справками и глубокого безденежья.

А в тот роковой день моего первого грехопадения еще и мамы наши пропали. Сперва у Галки мама пропала – уехала в Токсово, по забывчивости забрав с собой ключи от комнаты. И мы поехали к моей маме на Мойку. Из двора дворничихи выволакивали на фанерных листах грязный заблудший снег и сваливали его в Мойку, он тяжело плюхал и сразу тонул, только вялые круги вяло тащило течением в Неву. Мои клеша отяжелели, как брюхатые козы, шинель умудрилась промокнуть насквозь, кончики бескозырочных ленточек завернулись в трубочки и повисли мышинными хвостами. А Галя полна была фокстротной радости с легкой примесью танговой печали. Она остановилась на горбатом мостике через Мойку и смотрела на толстых дворничих, которые валили в реку заблудший во дворах снег. Ей нравилось глядеть на плюханье снега в черную воду – в конце концов это было очередное замыкание всего сущего на круги своя. А я, скорее всего, глядел на какую-нибудь цепь, висящую из гранитных камней набережной, и думал о том, что летом на этой цепи сидела чья-нибудь красивая лодка и как вообще хорошо летом, когда летает тополиный пух и его так много, что хочется связать из тополиного пуха свитер; пух липнет на лужи, мальчишки пускают в лужах кораблики, кораблики облипают пухом, плывут трудно и садятся на пуховые мели. Вот о какой-нибудь такой чепухе я думал, когда мы переходили Мойку по горбату, старинному, хлипкому мостику и Галя смеялась над толстыми от ватников дворничихами, которые сбрасывали с фанерных волокуш снег в городскую ненастоящую реку...

...Его мамы дома тоже не оказалось. И печка была нетоплена. Они затопили печку. Дрова были подсушены и разгорелись быстро. Поленья сразу начали стрелять. Они смотрели, конечно, на огонь. И она, конечно, боялась, что искра выстрелит ей на чулки, а он закрыл ей

колени каким-нибудь старым пледом. И они гадали, куда им пойти встречать Новый год, но все не могли решить, потому что знать не знали, чего они хотят от Нового года и его встречи.

У них были коммерческие мандарины, маленькие, крепкие, холодные, – те самые, которые так весело обвязывать ниткой и вешать на ершистые елочные ветки. И они ели эти праздничные мандарины до срока, а из печи светил рыжий теплый огонь. Они, конечно, несколько раз поцеловались, но он и духом не думал, что до грехопадения остаются считанные минуты. Зато она вела им точный счет. Она села возле него на корточки и обсыпала шикарным золотом волос его суконные колени, а от мокрого сукна клешей сквозь золото ее волос поднимался портновский парок. Он знал, что ей неудобно так сидеть и что по полу дует, и потому осторожно освободился, встал, чтобы закрыть открытое поддувало. А она кидала в печку кожуру мандаринов. Кожура была сочная, гореть не хотела, но все-таки чернела с краев и жар углей просвечивал ее насквозь, кожура светилась китайскими фонариками...

Он прекрасно помнил весь этот вечер, но он совершенно не запомнил, как случилось все дальнейшее, а когда через месяц он узнал, что она беременна, то впал в ту панику, которая, говорят, охватила Пентагон, когда царская Болгария объявила войну Соединенным Штатам Америки. Ужасность пентагоновской паники заключалась в том, что ни один из американских генералов не знал, что такое Болгария, где она и что она вообще такое. И потому Пентагон, говорят, впал в совершенно отчаянную, безрассудную панику – он знать не знал, чем и откуда обороняться. В такую панику впал и мой герой, хотя лейтенантские звездочки горделиво засверкали на его плечах, а вместо хвостов-ленточек за спиной во лбу его угнездилась флотская капуста. На перроне возле «Полярной стрелы» он вверил золотоволосую подругу товарищу однокашнику – бывалый товарищ обещал проверить аборт. И провернул. И через полгода женился на золотоволосой, и еще через год она родила ему сына – и все это с искреннего и счастливого благословения моего героя... А жизнь несла их в разные стороны – все дальше и дальше в разные стороны, и все они легко и даже весело забыли об истоках этой обыкновенной истории. И наш герой давно стал для золотоволосой подруги юности более чужим, нежели какой-нибудь шерп с Гималаев, а она стала ему такой чужой, как любая из дочерей Гогена на Таити. Но вот что интересно: знает об этой обыкновенной истории ее нынешний супруг – Юрий Иванович Ямкин? Мне кажется – нет. А иногда – да. Но какое все это имеет значение сегодня, когда она уже бабушка, а вокруг ночной океан, и темнота, и дальняя-дальняя дорога?

– Анекдот, анекдот вспомнила! – кричит Виктория и пальцами обеих рук пианирует по воздуху над столом так, чтобы все обратили внимание на легкость и изящество ее движений, ибо она пианирует «пальчиками»; она почитает свои накрашенные когти именно легкими, как сон, пальчиками.

Еще она любит касаться своей груди и поглаживать ее как бы случайно, инстинктивно, неосознанно оберегая нежность и ценность молочных желез от грубостей и пошлостей мира. Еще она любит прижимать обеими ручками волосы, чтобы смирить их невероятную легкость, их неудержимый эфирный полет. Еще она часто прикладывает пальчики к губам и щекам, чтобы целомудренно скрыть их роковую соблазнительность.

И вот она пианирует пальчиками над столом и: «Ха-ха-ха, у Бальзака спрашивают: “Вы всё из головы пишете?” А он, ха-ха-ха: “Да, из головы – я из ноги еще не могу!” И еще, и еще, слушайте! Сидит этот Бальзак грустный такой, ха-ха-ха, у него спрашивают, а чего вы такой грустный, а он: “Потому, что умер отец Горио!...” А вы мне больше не наливайте, мы с Мариночкой больше не хотим вина, оно уже кислое, его еще в Касабланке брали, мы шампанского хотим, да, Мариночка?...» – и все это девочкиным голоском, и каждый раз, когда она приподнимается с дивана, то опускаясь обратно, подкидывает сзади юбку, чтобы не мять, и садится на диван голыми трусами, а так как я сижу рядом, то она уж старается изо всех сил, чтобы я цвет

ее трусов разглядел как следует. Она сегодня здесь королева бала, она самый близкий капитану человек, капитан взбалтывает шампанское в ее стакане проволочкой от пробки, потому что она не любит и не хочет «с газами» – от них сразу голова кружится, и капитан отодвигает от нее подальше тарелку с семгой, потому что Виктории не нравится запах рыбьего жира – Юра уже основательно изучил вкусы своей возлюбленной. И я – второй человек на судне – даю ей прикуривать «Уинстон» с легкой и шаловливой улыбкой – о, я давно научился лицедействовать в таких ситуациях, – ведь все это для благородных целей, ради мирного сосуществования, ради хорошего психологического климата в экипаже, это все кодекс морского поведения, который скрыт от глаз романтических психологов. Послушали бы они, как дублер капитана осуждает вместе с «девушками» отвратительные новшества, внедряемые на пассажирских лайнерах. Там запретили коридорным и другой обслуге брать чаевые у иностранных туристов...

Про повод вечеринки – внука моего давным-давно погибшего товарища и моей первой в жизни женщины – тут начисто забыли – так мне начинает казаться. Но я ошибаюсь. Когда дамы в очередной раз покидают бал, вдруг оказывается, что Юра трезв, как ЭВМ. (Я вообще ни разу не видел его тяжело хмельным ни на берегу, ни на судне. И он и стармех умеют пить, знают норму и не забывают закусывать.) Юра поднимает рюмку в трехминутной тишине и смотрит мне в глаза трезвым и спокойным взглядом: «Ну, за того и другого Степанов! Пускай новый будет счастливей нас!» Мы с механиком поднимаем рюмки, но немного теряемся. При тосте за погибших на флоте не чокаются. Тост объединяет и живых, и мертвых. Как быть с новорожденным Степкой? Юра оценивает обстановку и выходит из положения по стопам Колумбов и Соломонов: «Стало быть, споловиним, ребятки!»

Сперва мы выпиваем по глотку за погибшего деда, потом чокаемся и пьем за внука. И Юра берет гитару. Они с механиком поют на два голоса. Они поют хорошо, они прекрасно спелись, они близки друг другу без показухи, их связывает сто тысяч общих миль за кормой.

Отговорила роща золотая  
Березовым веселым языком...

После бала я лезу в ванну. В приятном состоянии невесомости качаюсь вместе с теплой водой, мочалкой и уткой-поплавком французского шампуня. Нет лучше игрушки для стареющего мужчины, нежели полупустой пузырек шампуня в ванной. Незаметный поворот обратно к детству. Когда вы топите шампунную уточку и потом с любопытством ждете ее стремительного и неуклонного всплытия из мутной воды, знайте, – это свисток с того света.

Я забавляюсь с уточкой и думаю о том, что, чем дольше человек работает на море, тем больше у него запас терпимости к соплывателям. И если говорить совсем честно, то я начинаю находить даже в Виктории некоторые смягчающие ее пошлость черточки. Она, например, совсем не жадная. А это редкая черта у современных моряков. И ее сетования на новую политику с чаевыми главным образом тем вызваны, что посудомойки и другая обслуга, которая раньше тоже получала долю от общих чаевых (хотя и не имела возможности входить в контакт с туристами), теперь осталась на бобах. Еще я вспоминаю, что однажды Виктория вдруг сказала с довольно натуральной грустью, что завидует мужчинам, так как они умеют дружить, а у женщин дружбы нет – одни подкусы при улыбочках. Действительно, Виктория с Мариной изображают подружек, но это не мешает Марине при случае намекнуть, что Виктория приворожила Юрия Ивановича, подмешав ему в пищу кое-каких снадобий, связанных с лунным месяцем и языческими культами предков.

«А может, действительно, приворожила?» – думаю я, забавляясь с уточкой. Чем еще можно все это объяснить?

*12 ноября, Гамильтон – Бишоп-Рок, Северная Атлантика*

Радиограмма: с приходом в родной порт инспекторский смотр московской комиссией. Начальство просит тщательно подготовиться. Пароходство существует всего второй год – министерство не спускает с нашего начальства глаз.

В шестнадцать тридцать сыграли «Человек за бортом», потом легли в дрейф и сыграли пробоину у четвертого номера, заводили пластырь.

Ветер четыре, волна три.

Насмешил боцман. Гри-Гри за жизнь завел миллион учебных пластырей. И вдруг забыл, с какой стороны брать на тали подкильные концы.

У матросов раздражение на тревогу, общая вялость, отсутствие какого бы то ни было желания к лихости, даже при «Человек за бортом!». Современному молодому человеку «неудобно» совершать торопливо-быстрые движения, например бежать к шлюпке под взглядами начальства: «Еще подумают, что я “специально” стараюсь, а я плевать на всю эту игру хотел!»

Он может быть лихим и смелым, но это его смущает!.. Так мне кажется.

Комментарий боцмана: «Если так шевелиться будете – черви в задах заведутся!»

Слишком много бессмысленной ругани. Особенно при подъеме вельбота. Образчики: держи фалиня втугую, чулок мамин! Не давай раскачивать, в лоб тебе дышло! Выводи прямо под тали, чего шарики катаешь! Пускай волна пройдет на хрен! Совсем охренели: какая волна?

Как говорит Утесов: не знаю, какой одессит и откуда завез в Одессу эту одесскую музыку...

Вокруг был океан, впереди дальняя дорога. И позади дальняя дорога. Ребятам уже очень хочется домой. И о доме они думают. Думают о том, как начнет холодеть ночами, как в ватервейсах будет прихватывать ледком балтийскую водичку и как Гри-Гри добровольно выдаст им сапоги и ватники. Тоску и ностальгию можно припрятать по-разному – под внешней супербодностью, утрированной шутливостью, под фривольными шуточками, под бессмысленно грубой и грязной руганью. И, как ни странно, такая форма действует на содержание, как-то просветляет тоску длинной дороги, ослабляет яд психологической несовместимости, черт ее подери, через все триумфальные ворота с присвистом...

Обнаружил в судовой библиотеке пятый том Мериме и обалдел. Какой точный, обширный, тонкий, изящный ум! Какая статья о Пушкине! Ничего подобного у нерусских о нашей литературе не читал. Какая собранность, отчетливость мысли при полном кровном эстетическом восприятии.

А в томике еще статья о Стендале, путешествие по Корсике, набросок биографии Сервантеса... Даже не хочется сразу читать все.

Сдержанное джентльменством желание Мериме поспорить с Пушкиным о повадках цыган – он-то цыганами тоже занимался, Кармен родил! – какая прелесть и радость читать! Ай да Франция! Ведь Александр Сергеевич единственный раз опростоволосился и, прямо скажем, сел в веселую лужу, когда клюнул на «Песни западных славян».

Показал статью Шалапину и сказал нечто о том, что Пушкин будет еще века и века спасать нас от одиночества и рационализма.

– Вы сами-то замечаете, что всегда употребляете слово «рационализм» с уничижительно-ироническим оттенком? – спросил Шалапин. – Зачем это спасать нас от рационализма? Время требует от нас сейчас как раз рационализма в каждом шаге! А вы только и делаете, что шпильки в него пускаете!

Мы разговаривали, играя в шахматы. И я быстро получил огромное преимущество. Если бы я был на месте противника, то сдался бы немедленно, ибо рассчитывать на спасение в такой позиции значило бы рассчитывать на специальную или невольную ошибку партнера. Шалапин не сдался. В таких случаях мне делается стыдно реализовывать преимущество, мне стыдно

обдумывать ходы, как стыдно топтать упавшего. И я хожу как попало. И получаю даже какое-то облегчение, когда противник выигрывает. Но если я вижу у победившего торжество: вот, мол, он малыми силами победил! – то человеческая суть его делается мне ясной.

Еще об игре. В любой игре хочется проверить Удачу, свою степень Везения, проверить Судьбу. Что значит «проверить Судьбу»? А это выяснить – благородно это существо или нет. Но если хорошо знаешь теорию той или иной игры, то влияние случайностей, вероятностей значительно обуздывается знанием приемов. То есть ты уже не Судьбу проясняешь, не степень ее симпатии или антипатии к тебе, а экзаменуешь свои знания и умения. Любой экзамен тоже, конечно, интересен, но совсем иным качеством. Себя экзаменовать – или Судьбу экзаменовать! Чтобы как следует проверить отношение ко мне Судьбы, чтобы возможно беспристрастнее выяснить ее благородство или сволочизм, я не только позволяю себе плевать на проверенные приемы, но еще люблю играть с тем, кто эти приемы отлично знает и проводит в игру точно и бескомпромиссно. Вот тут уж расположение или нерасположение Судьбы ко мне прочитывается с полной объективностью, вот тут уж в случае победы я испытываю торжество и радость, которые глубинно укрепляют любовь к жизни.

Юра Ямкин, получив подавляющее преимущество, не сокращает времени на обдумывание своих ходов и доводит дело до победы без всяких сантиментов. Он просто не знает такого слова. Но невозможно даже представить его торжествующим после победы над стеснительно-деликатным игроком.

Шалапин торжествовал весь вечер...

Ну что поделаться, если в нем легко обнаруживаются все, буквально все – и внешние, и внутренние черты, которыми благородные художники награждают низких, неблагородных героев: близко посаженные глаза, постоянно холодно-влажные руки, вместо улыбки – растягивание морщинистых губ в косую полоску, ресницы белесые, веки быстро краснеют и т. д. и т. п.

Но между живым Петром Васильевичем и его литературными братьями есть замечательная разница. Ему нравится смахивать на змею. И, надо признаться, это по-своему элегантно змея. И взгляд его студенистых глаз вызывает робость даже у неробких, ибо красноватые веки с белесыми ресницами вообще не мигают. Влажно-холодные руки вполне устраивают Шалапина – он знает выгоду отчуждения, отчужденность – сознательная линия его поведения. При общении с Шалапиным из людей начисто выдувает юмор. Правда жизни Шалапина не смешна. «А разве смешна “Чайка”? – можно спасительно спросить себя. – Ведь назвал же Чехов “Чайку” комедией?»

*13 ноября, Гамильтон – Бишоп-Рок*

Утро. Перисто-кучевые облачка по всему небу. Маленькие белые хлопья, шарики или валики без теней, напоминающие рябь на песке или рыбью чешую. Они состоят из ледяных кристаллов и плавают в воздушном океане на высоте шести – восьми километров, сигнализируя о приближении тыловой половины циклона, холодного фронта или фронта окклюзии типа холодного. Нам, судя по всему, предназначен холодный фронт, то есть штормовой ветер, шквалы, грозы, ливневые осадки, похолодание. После тропиков такая погода особенно удручающе действует на людей.

Предупреждаю пассажира. Он говорит, что в тяжелые шторма не попадал, но вообще совсем не укачивается. И вдруг о Юре:

– Неужели в Морфлоте разрешается так вести себя? Неужели поведение капитана в таких вопросах у вас не регламентируется? Имеют ли право общественные организации вмешаться и указать капитану рамки и границы? Юрий Иванович даже афиширует связь.

– На судне ничего никогда не скроешь. Потому, вероятно, капитан и не скрывает.

– Ни на каком производстве такие вещи нельзя скрыть, но люди хотя бы делают вид, стараются хотя бы внешне регламентировать свое поведение.

– Послушайте, Шалапин, какое вам дело и зачем вы лезете в чужой монастырь? – говорю я.

– Я социолог. Ваш пароход – микромодель общества. Мне очень интересно наблюдать. Между прочим, ситуация повторяет здесь ту, в которой находился начальник отдела кадров у нас в НИИ. Он тоже вступил в связь с секретаршей.

– Вы наблюдали за их отношениями?

– Не только наблюдал. Изучал. Это моя обязанность.

*14 ноября, центр Северной Атлантики*

Холодный фронт догонял справа с кормы, а солнце было слева низко. От судна падала на зыбь четкая тень. Возмущенная судном волна рождалась в этой тени, потом выкатывалась из тени на солнце и ослепляла пенной белизной, настойчиво заставляя ассоциировать с рассыпающимся на солнце чистейшим горным снегом, с «мороз и солнце, день чудесный», а справа вздымался из горизонта мрак, клубящийся аспид, поражаемый молниями, как змей Георгием Победоносцем. Над аспидом-змеем кипели кучевые облака. Над ними в зените беззащитно голубело.

Фронт шел нам наперехват, или мы шли ему наперехват.

Но так или иначе этот грозовой воротник – огромный дугообразный облачный кучево-дождевой вал был верным признаком жестокого шквала и тяжелого шторма. Стрелы молний мелькали все чаще и, как и положено стрелам, дрожали махровыми оперениями еще какие-то доли секунды после удара в черноту, в мрак, в змея. Океан тускнел, и в помещениях пришлось включать свет, хотя солнце все еще светило с левого борта. Зыбь начинала завихряться, но как-то тяжело, поблескивая тускло, как тюбики масляной краски. Когда между нами и фронтом осталось миль пять, видны стали смерчи – разорванные, расхристанные, вертящиеся как юродивый под дождем. И стал доноситься грохот – сплошной грохот, а не отдельные грома. Затем смерчи превратились в заряды града и накрыли судно, и так сразу все стало странно, что, казалось, электрический свет в помещениях изменил цвет, похож стал на мочу больного – очень желтый, именно какой-то болезненный. И в летящей мгле исчезли мачты, и грузовые стрелы, и палубный груз.

В начале шторма у меня бывает некоторое подобие сочувствия к волнам. Все-то они в пене, все, голубушки, намыленные, всем соленое мыло глаза ест, и по спицам, по желобкам и лопаткам пена струится, волосья мокрые на головах дыбом стоят, а по вспученным грудям пена мечется и извивается, как на стиральной доске. И жалко мне океанские волны, как лошадку, которую пьяный хозяин в автомобильную мойку завел и бежать на месте заставил под мытьевыми струями. И уж она, волна-лошадка, бежит-то изо всех сил, и глаза, бедняга, жмурит, и звать не знает своего направления – рыскает и рвется, на галоп сбивается. А теперь представьте миллион таких лошадей – миллионный табун намыленных диких мустангов. И такой они шум, гам, хай выпускают, что святых уноси. А ветер их – хлыстом-мочалкой, мочалкой! – по голым задам, по нежным спинкам! Он ведь беспощадный циркач, он волнам в гривы-хвосты вцепится и пошел стегать! пошел азиатом-наездником вскакивать и соскакивать, улюлюкать и свистать, башкой вниз под брюхи свешиваться, задом наперед садиться и на стремях волочиться...

*14–15–16 ноября, центр Атлантики*

Никогда не видел зеленого луча на закате. Но такой луч раньше пронзал меня, когда дело шло о спасении на море. Говорят, увидеть зеленый луч – счастье. И такие мгновения

счастья мигали мне среди трагедии и смерти. И в этом не было кощунства, ибо чужое несчастье открывало во мне все шлюзы братства и объединения с другими людьми, а это и есть счастье. Оно может пронзить даже и у открытой могилы друга.

В прошлом году многие ведомства пытались запеленговать около дюжины ложно поданных сигналов SOS, но безуспешно. Виновников обнаружить оказалось очень трудно из-за короткого периода подачи сигналов. И все же однажды такого нашли. Он был оштрафован на 400 фунтов стерлингов и получил тюремное заключение. В другом случае виновником оказался школьник из Йоркшира, подававший сигналы бедствия из своей спальни. Он был оштрафован за «незаконное использование электроэнергии».

Последний случай с нами лишний раз говорит о существенных пробелах как в международном морском праве, так и в судебной практике ведущих морских государств.

Когда в 14.37 радист принял сигнал бедствия, Юра вызвал меня, и мы посидели с ним у приемника в радиорубке, как сидят врачи на консилиуме у постели безнадежного больного. Координаты испанца оказались в центре циклона – как будто ими туда Господь Бог выстрелил из снайперской винтовки. И трудно было представить, чем мы сможем помочь, если и успеем подойти к полыхающему судну. От одной мысли о спуске вельбота становилось тошно. Особенно еще потому, что у меня в ухе булькало – попала вода, когда мылся в ванной. Такое у меня случается часто и чревато сильнейшей болью в черепе и частичной потерей слуха. А коли собираешься геройствовать на морском спасении и тушить пожар на чужом судне в штормовом океане, то рекомендуется иметь все органы, члены и членики абсолютно здоровыми. Я испытывал обиду на испанцев и на судьбу, которая лишает покоя. Морской спасатель, как хороший солдат, не должен думать об отдаленном будущем, а я думал о незаконченном сценарии, и мне казалось, что человечество погибнет в конвульсиях, если я не поставлю ему горчичник своей кинокомедией.

Старший помощник у нас парень странный, боюсь, у него что-то с психикой. Потому Юра приказывает мне взять все «внутренности» под контроль, а себе оставляет судовождение и связь. «Внутренность» – это приведение в готовность и проверка противопожарного имущества, формирование партии высадки, экипажа спасательного вельбота, подготовка линеметов, проверка буксирного устройства и инструктаж людей.

Командиром вельбота решаем послать второго помощника, командиром группы высадки Юра назначает меня, ибо в далеком прошлом я работал на спасателях.

Прошу Сережу собрать аварийную партию и проверить подгонку кислородно-изолирующих приборов по лицам.

Второму помощнику Сереже столько лет, сколько мне было, когда я первый раз собирался на аварию – тщательно брился безопасной бритвой, одновременно изучая в зеркале свою физиономию, на физиономии была смесь отчаянного страха с отчаянным восторгом. Вероятно, Сережа сегодня испытывает похожие эмоции. На каютной переборке в ногах койки у Сережи – как крест у ожидающего воскресения православного покойника – изображено красным фломастером изречение: «ВСТАВАЙТЕ, ГРАФ! ВАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА! С. Экзюпери».

Французского пилота могут обвинить в плагиате, ибо изречение ему не принадлежит, но я не стал ничего говорить Сереже. Ведь именно имя Экзюпери воодушевляет второго помощника по утрам больше, нежели само изречение. Пускай Экс осеняет Сережу с переборки. Вот уж что невозможно представить, так это английского или французского штурмана, начинающих день вместе с Антуаном де Сент-Экзюпери. И в этом есть кое-какая надежда.

Я знаю еще, что Сережа ведет дневник – редкая вещь сегодня. В дневнике второй помощник старательно записывает слухи об авариях на море и гибели судов. То, что суда на этом свете все еще иногда тонут или горят, помогает Сереже сохранить некоторое уважение к профессии. Еще звонит иногда колокол Лондонского Ллойда, звонит! Конечно, потонуть очень

сложно нынче, но как отрадно, что какая-то надежда остается – слабенький налет мужественности на этом обабившемся океане!

В столовой команды сидят десять человек с КИПами. Аппараты проверены, маски подогнаны. Теперь, когда впереди есть возможность оказаться в дыму и пламени без учебных целей, каждый вцепился в свой аппарат, как провинциал в свой чемодан на московском вокзале. (У испанцев горит шерсть в носовых трюмах.) Сережа объясняет толпе пользу и необходимость страховочно-сигнального конца – веревки – при работе в горящем трюме.

Слушатели-спасатели демонстрируют безрадостное и упрямое сопротивление второму помощнику и правилам хорошей морской практики. Со стороны можно подумать, что каждый матрос и моторист – клинический идиот. От лица всех клинических идиотов выступает, конечно, Варгин:

– Веревка! Веревка! Она только мешать будет, чепуха эта веревка!..

Сережа:

– Еще раз объясняю. Конец необходим, чтобы вас можно было вытащить, если сознание потеряете, – раз. Второе – она служит как, например, сигнальный конец водолазу. Когда вы работаете в паре...

– Я за один угол заверну, за другой, веревка запутается – вот тебе и весь сигнал. Через угол не дернешь, а работать она не даст...

– Страховочный конец необходим, чтобы за него можно было вытащить.

– Как ты меня на веревке вытащишь, если я за два угла завернул? Ни хрена ты меня не вытащишь, а работать она не даст...

– Веревкой вы можете подать сигнал, что...

– А позади меня кипа с шерстью упала да и придавила веревку! Вот и окажешься как телок на привязи. Чепуха эта веревка...

Девять остальных спасателей слушают диспут о веревке с полным вниманием и нездоровым интересом.

Сережа:

– Конечно, если сигнальный конец передавит кипой, так вы сигнал не сможете подать, но разве можно все на пожаре предугадать...

– Вот я вас тогда и спрашиваю: зачем веревка-то? Зачем веревка, если я за угол завернул или ее передавило? Вон на «Камске» Ленька Полуянов полез с веревкой да и запутался – у них малярка горела под полубаком...

Другой клинический идиот – мой умница, мой Саша Кудрявцев! – оживает и говорит:

– Не, это на «Ангарске» малярка горела, а на «Камске» от электрического чайника началось – в каюте, между прочим, второго помощника...

Неформальный лидер, строго:

– А я говорю: на «Камске»!

Сережа:

– Еще раз объясняю. Линь обязательно нужен для страховочной цели! Чтобы вас вытащить, если вы сознание потеряете.

– Как же ты вытащишь-то, если веревку шерстью передавило? – спрашивает Варгин с какой-то даже жалостью к непроходимой тупости второго помощника.

– Варгин, когда космонавт Леонов выходил в открытый космос, он был привязан сигнально-страховочным линем, хотя линь мог зацепиться, например, за антенну...

Господи, как Сережа молод, если он все еще пытается призывать к логике; сейчас он еще Аристотеля вспомнит!

Варгин:

– А здесь не космос! Какая сигнализация, если я за два или три угла завернул? Попробуй дерни веревку, если за три угла завернул!

Я:

– Всем встать! Положить КИПы на палубу! Разобрать сигнальные концы!

Неформальный лидер, продолжая сидеть:

– А чего вставать-то, когда качает...

– Варгин, заберите свой аппарат и уберите отсюда к чертовой матери! На спасение я вас не допускаю!

– Да я... да мы... я только...

– Вон! – гаркаю я так, что боль в ухе вспыхивает.

Неформальный лидер медлительно убирается за дверь, бормоча: «Утром – бьют, днем – бьют, ночью – бьют, – это уже не по закону джунглей!»

Я:

– Вот инструкция! Здесь написано: «Наличие страховочного конца – обязательно». Так положено! Вот вы, Кудрявцев, завяжите сами на себе бросательный беседочным узлом! Можете?!

– А чего не мочь?

– Остальным – сесть!

Здесь не тупость, нет! Дело в самолюбии молодого человека, вероятно. Самолюбие неосознанное, чем-то оскорбленное, какое-то смердяковское по затаенной болезненности... Раз сопротивляться начальству в большом, главном никак нельзя, невозможно, то сопротивляйся в мелочах и против того, кто сам еще маленький начальник. И сопротивляйся при помощи иррациональной тупости. Потому что если ты не боишься перед толпой показать себя Иванов-дураком и бараном, то от начальственных логик и мудрых инструкций пыль и дым полетят и никто тебя не переспорит. Против припадков такого оскорбленного самолюбия есть одно слово: «Положено!» Чтобы тупость молодого сопротивления нашла на тупость инструкции, как коса на камень. Но об этом у Экзюперы не прочитаешь, это надо выстрадать...

Кажется, я переборщил с Варгиным. Ведь виноваты в тупой сопротивляемости ВСЕ, все они молчаливо, но поддерживали чепуху с веревкой. Плохо еще, что именно Сашу Кудрявцева я заставил первого подчиниться своей воле и продолжить действие, прерванное удалением неформального лидера Варгина. И это уже ошибка. А произошла она из-за недостатка времени на обдумывание ситуации. Мелькнула Сашина физия, и: «Вот вы, Кудрявцев!» – так учитель вызывает к доске при инспекторе отличника, в безотказности которого уверен, хотя потом и казнится своей трусливой по сути импульсивностью...

Когда Шалапин узнал, что мы изменили курс и идем на помощь бедствующим испанцам, то попросил провести его по судну. Опять слова о корабле, как о микромодели общества, о специальном интересе к поведению микрогрупп в экстремальных обстоятельствах. Плюс, вероятно, распирала его гордость от того, что не укачался. Что ж, ему есть чем гордиться. Не укачаться в первый в жизни шторм это хорошо.

Начали со старшего механика. Сидит в каюте и склеивает модель старинного парусника из соломки, ругается, что электрический утюг слабо нагревается. Стармеху подчиняется десять тысяч лошадей, запряженных в электронику и автоматику черт-те знает какой сложности, но с утюгом для разглаживания соломки он справиться не может. Обрадовался, что мы пришли. Шалапин интересуется картой над столом. Моря и океаны на карте механика залиты кроваво-красной краской с маленькими белыми просветами. Механик объясняет о мерах по борьбе с загрязнением окружающей среды, о сохранении чистоты океана: всякое машинное дерьмо разрешено сливать за борт только в районе белых просветов... В настоящий момент мы везем через океан около тысячи тонн загрязненной маслом и нефтью воды...

Шалапин неожиданно тестирует: «Если начальство попросит вас подобрать компрометирующий материал на вашего подчиненного, никакими отношениями, кроме служебных, с вами не связанного, что вы сделаете?»

Стармех выпучивает глаза, «Фоминск» валится на борт, утюг летит со стола, но удачно – падает в мягкое кресло, механик ловит утюг, тогда слетает со стола фрегат с соломенными парусами, одновременно звонит телефон. Мы с Шалапиным ловим фрегат, а дед хватается за трубку – разговор о температуре воздуха, которым продуваются цилиндры, – второй механик вычисляет какой-то график и консультируется с дедом. Наконец дед кладет трубку и отвечает на тест: «Зависит от того, какое начальство попросит. Если большое, то... подберу». Шалапин благодарит, и мы уходим вниз по разрезу – в каюту боцмана.

Гри-Гри ест из банки домашнее варенье столовой ложкой и изучает поведение рыб в своем аквариуме в экстремальных условиях тяжелого шторма. Нашему появлению никак не радуется. Он думает, что я опять буду приставать к нему по поводу переправы буксирного троса из форпика в корму. (Если нос испанца в огне, то свой буксир они нам подать не смогут. Разбирая такой вариант, мы и решили было попробовать провести свой буксир из кладовой в форпике на корму, но это оказалось ненаучной фантастикой.)

Вода в аквариуме на очередном крене плескается через край. Гри-Гри укоризненно качает головой и выдает виршу:

Трещат сараи и амбары!  
На запад катятся Варвары!

Я не сразу понимаю, что «Варвары» это «варвары». Узнав, что ученый пассажир хочет задать ему один-единственный вопрос, боцман успокаивается и предлагает сесть на койку. Она покрыта домашним лоскутным одеялом. Шалапин повторяет вопрос о сборе компрометирующего материала. Дракон ни минуты не думает. «Ежели начальству надо, то пусть само такой материал и набирает – за то им и деньги платят!»

В коридоре Шалапин спрашивает: «Кто-нибудь здесь думает о том, что где-то несчастье, гибнут люди, что они идут спасать погибающих?» Я: «Это тест или нормальный вопрос?» Оказывается, обыкновенный вопрос. Я: «Вот вы у “них” и спрашивайте!» Звучит грубовато, и я сразу лакирую грубость доверительностью: сообщаю, что в чрезвычайном случае нам придется спускать свои плавсредства и высаживать на горящее судно аварийную партию; в такую погоду это почти сто процентов риска, потому я формирую партию только из добровольцев и предлагаю ему присутствовать при этой формальности.

Поднимаемся с палубы на палубу сквозь надстройку.

Из спорт-каюты смех и звонкие удары шарика о пластик – кому-то из молодежи весело играть в пинг-понг на качке. Из столовой команды лязг тарелок и голос Марины: «Мальчики, кто горчицу увел – признавайтесь!» Из трансляции – Москва, «Маяк», с хрипами, сквозь иностранные прищепывания и космические завывания: «Оделась туманами Сьерра-Невада...»

Действительно, похоже, что никто ничем не озабочен. Напряжение только на мостике. А может, все это – «не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи...»? А мне чего сейчас больше всего хочется? Лечь на диван, заклинить, закурить, читать Мериме о Стендале – и чтобы никаких аварийных партий и горящих испанцев и никаких хлопот с буксирной брагой на корме, ибо за бортами уже не волны, а ведьмы несутся сквозь соленую мглу, старухи-ведьмы бельмами зыркают, космами машут, радугами перекидываются, завывают, завиваются; друг с дружкой наперегонки рванут, потом сцепятся, повалятся, опрокинутся, начнут друг из дружки ключья косм рвать, кусаются, бьются, в уродство, в смертоубийство пускаются. И вот так от горизонта до горизонта кишмя кишит припадочных старух, гонятся, валяются, слепые все от ненависти, злобой брызжут, мертвыми когтями корабельную сталь рвут; повалят судно, и сразу сверху куча мала – сразу вся стая бросается, виснут, давят, друг по дружке ерзают, в миг опять меж собой схлестнутся, а кораблик-то и очухается маленько, вырвется, отчихается, отплюется, воздуха глотнет, взметнется на высоту – к черным тучам, которые в небесах по кругу

несутся, сами себя за хвост укусят норовят. И увидишь весь океан с высоты – ни сердца в нем, ни души, ничего вообще человеческого, только холодная злоба и сатанинская радость абсолютной свободы без всякой познанной необходимости. Рухнет судно обратно в адский котел, в холодное кипение соленой смолы. Дыхнет океан могильной тьмой, зайдутся ведьмы-волны сумасшедшим хохотом, бросят ссориться, начнут обниматься, друг через дружку прыгать и зарыдают вдруг – это, так и знай, не шторм уже, а ураган, который в баллах не измеришь и математикой не смоделируешь. Когда сумасшедшие старухи ссориться перестанут – это уже космическое исступление, которое с вечным покоем граничит. Брызги опасть не могут, саваном задернет океан, метелицей вспухнет и заструится пена, а свет – что днем, что ночью – станет ровным, призрачным, потусторонним. И покажется, померещится вдруг тишина. Как будто исчезли звуки со всей планеты, унес ураган и стон, и вой, и грохот – тишина космическая и неподвижность вечности. И сколько мгновений, или микросекунд, или часов, или веков тянется эта исступленная тишина – ни часы, ни другие приборы сказать не смогут, потому что тут уже чистой воды чертовщина и сплошная иррациональность...

Но рано-поздно сдернет Бог или сатана саван с океана, и увидишь начало порядка и проблеск разума в хаосе стихий, сверкнет звезда во тьме небес залогом гармонии и красоты, и ты засмеешься усталым смехом, потому что прошел сквозь еще один ураган; и смиренно поблагодаришь провидение и свое могучее молчаливое судно. Океан подпишет мирный договор с профсоюзом нечистых сил. А от сумасшедших старух утром родится прозрачная девочка – штилевой рассвет. И побежит девочка по небесам с розовыми, желтенькими, голубыми цветами искать своих ужасных мам, а тех и след простыл...

Сидим с Шалапиным у меня и вызываем поштучно героев-добровольцев. Вообще-то, редко кто берет у добровольцев расписки. Но когда я плавал на спасателях, старик-помор, мой первый командир, научил брать расписку. Философский смысл ее в том, что брякнуть «Да!» или «Прошу взять!» проще для человека. А вот если не привычному к писанию человеку положить под нос бумагу, дать перо и попросить самому написать: «Прошу зачислить меня в аварийную партию для высадки на аварийный пароход», то он лучше осознает, на что идет, и будет больше готов к тому, что его ждет. Процедура способствует собранности.

Второй радист приносит перехват с радиотелефона. Радиотелефонограмма с самолета американской спасательной службы. Пилот сообщает авианосцу «Индепенденс», который тоже идет к горящему испанцу, что имеет на борту двух парашютистов-аквалангистов с радиостанциями, медикаментами и шерстяными одеялами. Неужели кто-то способен прыгнуть в штормовой океан? И ведь да – прыгают! Я знаю, что так спасли какого-то одиночку-яхтсмена возле Азор – прыгнули прямо в кипящий океан и добрались до яхты и спасли одиночку!..

Заходит Кудрявцев. И уже для абсолютной формальности прошу его сесть и написать расписку.

– Если можно, меня не включайте! – выпаливает Кудрявцев. – Я в лесном пожаре угорел, дыма теперь боюсь, плохо себя в маске чувствую.

– Хорошо, – сказал я. Глаза мои хотели удивленно и вопросительно подняться, но я успел поймать их уже на лету и посадил обратно на аэродром стола.

– Кого посоветуешь? – спросил я Кудрявцева, вычеркивая его фамилию из списка. – Нужен еще один – вместо тебя.

– Варгина – кого же еще?

– Хорошо. Пошлите его ко мне.

Кудрявцев уходит.

– Труса спраздновал! – говорит Шалапин. – Не находите?

– Нахожу, нахожу! – согласился я, чтобы отвязаться.

И вот никому, слава богу, геройствовать в огне и шторме не пришлось. Мы и обрадовались ложности сигнала бедствия, и обозлились.

КУМ последовал почти сразу же за драматической радиограммой, в которой было полно ярких подробностей: «Ветер гонит пламя к мостику, шлюпки повреждены, спустить невозможно, покидаем судно на спасательных плотках, помощи нам бог». Юра зачитал радиограмму по трансляции. «Фоминск» притих и собрался с духом и мыслями. И сразу последовал КУМ. Возможно, длинный текст драматической радиограммы позволил американцам запеленговать передатчик и убедиться в том, что он лепит туфту.

Ямкин выдал гейзер ругани, начиненный еще сленгом подводников. Это было красиво.

Радист рассказал о случае жуткого SOS, который он принял в районе Филиппин. Капитан греческого судна подавал сигнал бедствия, закрывшись в радиорубке. К нему ломилась пьяная команда, чтобы пришить – чем-то он не угодил соплавателям. Грек капитан подавал персональный сигнал бедствия на международной волне, а в окна рубки ему стучали ножами. Сережа вспомнил анекдот из серии «Про лысых»: на место, где погибло судно, приходят спасатели, спускают шлюпки, подбирают уцелевших с воды. Один бедолага плавает голым задом кверху – его не ухватить за скользкий, мокрый зад. Тогда спасатели стучат ему по задку веслом и орут: «Перевернись башкой кверху, так тебя и так!» А он, оказывается, просто-напросто лысый совсем дядька.

Растрогал Петр Васильевич. Он еще не знал о ложности сигнала бедствия, не спал – высматривал в ночной штормовой кутерьме горящее испанское судно. И высмотрел.

Я стоял во тьме ходовой рубки и раздумывал о том, что надо было самому слезть в трюм и посмотреть груз. И вот Петр Васильевич нашел меня у лобового окна, схватил за руку и зашептал: «Отблеск! Отблеск пожара! Видите? Значит, мы к ним успеваем, да?!»

За взбаламученными тучами всходила луна. Она иногда такой красный свет испускает, что я и сам неоднократно принимал ее за факел горящего нефтяного газа или за пожар на судне.

– Уже успели! – сказал я, освобождая руку от влажного сжатия. Но он не дал мне освободиться, пригнулся и зашептал горячечно:

– Вы все тут привыкли к такому, к таким эмоциональным стрессам... А я, я так счастлив участвовать, то есть я понимаю, что я не участвую, но ведь я все-таки присутствую, своим присутствием участвую в спасении каких-то гибнущих людей... Вы привыкли, огрубели, вы не понимаете, как это замечательно, как прекрасно идти, принять решение изменить курс к погибающим, пронзить этот циклон и найти их в такой тьме, кутерьме... Ах, как это замечательно! Какое счастье, какое счастье я испытываю!

Он плакал! Всклипывал и плакал! И мне никак не хватило духа засмеяться и сказать, что слева двадцать всходит луна, а никакого аварийного судна вообще не было, что мы клюнули на шуточки конца двадцатого века, а не на истинную человеческую беду.

*16 ноября, центр Сев. Атлантики*

Ветер продолжал заходить вправо и усиливаться, температура падала так стремительно, что казалось, глаз замечает, как съеживается корабельный металл. Валы набрякли тяжестью, как руки боксера венозной кровью. Высота волн все росла, они вспухали из глубин океана скифскими курганами. Судно скользило по склонам курганов, впадая в глубокие – до тридцати пяти градусов – крены. И когда мы спускались с мостика, то увидели, что по коридорам в надстройке поползли ковры. А когда глядишь на длинную ковровую дорожку, ползущую по коридору, собирающуюся в складки у переборки, то мысленно переносишься в трюма и видишь в их гулком мраке шеститонные рулоны стали, повисающие на тросах креплений, и каждой своей клеткой чувствуешь перенапряжение креплений контейнеров – огромных, сорокафутовых стальных ящиков, поставленных друг на друга: четыре четырехосных товарных вагона друг на друге и по четыре в ряд.

Сталь в рулонах опасна тем, что представляет как бы взведенную часовую пружину весом в шесть тонн. Если рулоны начинают ерзать, то возникает возможность повреждений бандажей, которые стягивают рулоны. Тогда шеститонная пружина начинает разворачиваться. Бывали случаи, когда сталь заполняла весь свободный объем трюмов, вспучивала люки и распирала борта.

Мы шли к мифической «Анне-Мари» около семи часов, и все это время судно испытывало очень сильные сотрясения от столкновений с волной, возможны были и повреждения носовой части днища, и повреждения бандажей, и деформация конлоков у контейнеров.

Потому мы сами пролезли первый, второй и пятый трюма. И я натерпелся такого страха, что даже детство вспомнилось. Я очень темноты в детстве боялся. Плакал, если память не изменяет, не очень много. К старости глаза щиплет чаще, чем в детстве. Но темноты жутко боялся. И в темный коридор, на зловещий шорох, на возможное страшное бросался, опережая это страшное. Волосы вставали дыбом, мурашки охватывали. Нынче волосы не дыбятся и мурашки не бегают, но, черт побери, жуткое дело лазать по трюмам на океанском судне в шторм! Об этом только говорить не принято, но если нет ежедневной привычки, то очень страшно.

Попробуйте из окна четвертого этажа вашего неподвижного городского дома спуститься по пожарной лестнице во двор-колодец. Но когда будете лезть, то в воображении наклоняйте дом и лестницу каждые тринадцать секунд на тридцать – тридцать пять градусов во всевозможные стороны, но обязательно неожиданные. Теперь проделайте это в полной тьме – только на ощупь. Теперь включите шумовые эффекты – удары волн в сталь бортов, эхо, скрип и стон многотонных масс груза, лязг и гудение перенапряженных стальных тросов крепления, каждый из которых вполне готов лопнуть. Теперь, когда вы спустились на дно двора-колодца, включите фонарик и отдайте этому фонарику одну из двух ваших рук. Другой рукой цепляйтесь за черный густой воздух. В луче фонарика вы увидите самые неожиданные вещи. Например, окажется, что вы не на дне колодца, а на штабеле из пакетов листового железа или на стальном рулоне. С этих штук вы слезаете дальше в неизвестную грохочущую тьму. Вы слезаете торопливо, ибо металл под вами расползается и вам кажется, что его расползание закончится уже через пару секунд...

Короче говоря, в трюме штормующего судна вы быстро убеждаетесь в том, что любой металл враждебен человеку. Вы узнаете, что металл полон ропота на вечное рабство. Вы кожей почувствуете, что раб-металл не смирился и никогда не смирится перед человеком, что он вечно кипит скрытым бунтом, как магма где-то там, еще на тысячу километров глубже, под океанским дном.

Итак, пока мы перли полным ходом в разрез волны, конлоки (замки) под контейнерами частью полопались, частью совсем раскрошились, и вся пирамида контейнеров «ходит».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.